

Николай ФОМЕНКО

Николай Николаевич Фоменко родился в 1953 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил театрально-декорационное отделение Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова. С 1978 года живёт в Артёмовске Донецкой области. Рассказы публиковались в журналах «Союз Писателей», «Новый мир», Esquire (Украина), «Новый журнал», «Крещатик», «Отражение» и др. В «Волге» публиковались рассказы (2016, 2017, 2019, 2020).

РАДИ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ

Повесть в диалогах

– Я, Саша, так давно живу, что помню времена, когда евреи ещё скрывали, что они евреи.

– Им это удавалось?

– Ну, что ты. Мой тесть так и говорил, стоя в кальсонах у кухонного окна: «Жидовка пошла с первого подъезда». И все в квартире понимали, о ком речь. Она была врачом, кажется, окулистом, но никого не лечила, а только выписывала справки о нетрудоспособности. Ты знаешь, Саша, что значит выписывать справки о нетрудоспособности? Это всё равно что печатать деньги.

– Наша новая директор, случайно, не еврейка?

– Нет. Во-первых, все нормальные евреи даже в третьем колене давно отсюда свалили, а во-вторых, и в то далёкое время евреи редко становились директорами.

– Почему?

– Потому что это не поощрялось. Да они и не стремились быть директорами. Что такое директор? Сплошной геморрой.

– Вы слышали, директор пригласила попа освятить помещения. Какое она имела право, не посоветовавшись с коллективом. Я, может быть, мусульманка.

– Неужели она и правда верит в эту ерунду?

– Какие все стали религиозные. Терпеть не могу всякую моду. Николай Петрович, вы были пионером?

– Ну а как же. Двадцать второго апреля возле памятника Ленину. От волнения вскинул в салюте не ту руку. Как же, помню.

– Ну, и какое у вас теперь отношение к религии? Поменяли вы свои взгляды?

– Раньше я вообще не думал о религии, теперь иногда думаю, но ещё не верю.

– А я считаю, что всё равно что-то есть. Может быть, это что-то не так примитивно, как раньше думали. Ну, что бог – старичок там, где-то на облаке. Это, конечно, всё ерунда.

– Я думаю, бог должен быть в душе. По большому счёту, бог – это совесть.

– Душа, бог, совесть... Вы о чём?

– Нет, всё-таки интересно, она в самом деле верит в бога или разыгрывает перед нами спектакль?

– А за чей счёт этот спектакль? Попы, они бесплатно никуда не ходят, и без денег, может быть, сами не особенно верят. У нас полторы тысячи квадратных метров, вы представляете, сколько это будет стоить?

– Да кто там верит. Ничего, кроме бизнеса.

– Какие вы все страшные. Так нельзя, может, она от чистого сердца. Хочет, чтобы у нас аура хорошая была.

– Вот ещё – аура. Какое имеет отношение аура к христианскому богу.
– Запутали людей. То нет бога, то есть бог.
– Всё равно, как хотите, она должна была посоветоваться.
– Я уйду. Я не хочу при этом присутствовать. И пусть она попробует что-нибудь мне сделать.

– Николай Петрович, вы видели священника? Какой-то он неряшливый. Такое впечатление, что ряса в пыли, вылинявшая, как будто ей сто лет.

– Я не присматривался, я сразу вышел.
– По-моему, нас очень трудно запихнуть назад в веру. Но с другой стороны, подумаешь, что-то должно быть? Вы как относитесь к теории Дарвина?

– Положительно.
– Думаете, он прав?
– Меня убеждает.
– И то, что человек произошёл от обезьяны?
– Все как-то буквально понимают это. Пытаются представить себе обезьяну человеком. Естественно, это не получается.

– А как надо?
– Надо иметь в виду миллиарды неуловимых градаций.
– Но даже учёные не все согласны.
– Что ты от меня хочешь?
– Ничего, просто я уважаю ваше мнение.
– Глупости. Нет у меня никакого особого мнения. Если хочешь знать, я не цельный человек, подверженный сомнениям. Я, Саша, суеверен, а это ещё темнее веры в бога. И искусство мне кажется каким-то колдовством. Я никогда не мог соединить произведение искусства с автором. Смотришь на картину, и всё понятно, начинаешь думать о художнике, и не понятно, как он мог это написать, почему он это написал? Человек всегда меньше шедевра. А бывает наоборот: умный, образованный человек и делает какую-то ерунду.

– Николай Петрович, что вы скажете о нашем новом директоре?
– Наденька, директором должна была стать ты.
– Вот ещё. Зачем мне это нужно. Я вас серьёзно спрашиваю.
– А я серьёзно ответил.
– Я не хочу быть директором.
– Не ври.
– Николай Петрович!..
– Ну, ладно. Это хорошо, что ты не хочешь. Мне бы трудно было тебе подчиняться.
– Я бы и не требовала... Но вы меня заинтриговали: то вы говорите, что я должна стать директором, то хорошо, что я не хочу им быть. Как вас понять?

– Не знаю. Я сам не всегда понимаю, что говорю. Так, болтаю языком.
– Ой, ой, так я вам и поверила. Мне вообще кажется, что женщины для вас слишком глупы. Я угадала?

– Ну, не то, чтобы глупы. Почему глупы? Разве ты глупа? Но женщина – это женщина. Понимаешь? Даже слово есть такое: женщина. Им обозначают человека, не похожего на мужчину. А чем женщина отличается от мужчины – это целая наука. Там и гормоны, и внешние признаки. Психика, согласишься, другая.

На груди Нади лежал пепел. Николаю Петровичу очень хотелось наклониться и сдуть его. Надя проследила за его взглядом, увидела пепел, смахнула пальцами и ушла.

– Ну, что ваша новая директор, ещё никого не выгнала?
– Почему она должна кого-то выгнать?

– Как же, новая метла по-новому метёт.
– Что в метле может быть нового?
– Ты с нею не спорь, пожалуйста, а то останешься с одной пенсией.
– Хорошо.
– Что хорошо?
– Не буду спорить.
– Я тебя знаю, начнёшь возражать. Она что-нибудь скажет, а ты, как всегда, не согласишься.
– Смотря что она скажет.
– Вот. Я так и знала. Думаешь, ей это понравится?
– А мне какая разница, если она будет говорить глупости.
– Директора не говорят глупости.
– Говорят, ещё и какие. Ты это сама знаешь.
– Всё равно. Делай вид, что всё хорошо.
– Хорошо.
– Что?
– Перестань, прошу тебя.
– Я знаю, что с тобой говорить бесполезно.

– Николай Петрович, это правда, что в ваше время запрещали рок-н-ролл?
– Можно так сказать.
– И что вы тогда слушали?
– Рок-н-ролл и слушали. В плохом, конечно, качестве. Мы тогда жили как в мешке. С одной стороны дикий Запад, с другой – сумасшедший Китай, и только мы как луч света в тёмном царстве. Представь себе, я тоже так думал. Думал, боже мой, какие же там, на Западе, несчастные люди. Италия во власти мафии и красных бригад, Германия со своими неонацистами, Белфаст, Гондурас, Анжела Дэвис в застенках ФБР... и безумный рок, Дип Пёпл. А у нас «Голубой огонёк», Толкунова с Кобзоном, родители на диване, фигурное катание и ни малейшей облачности. Коридор прямой, как прямая кишка, и идти не надо, тебя самого вынесут, даже если ты не хочешь. Высерут тобой, и всё. Я уже даже не человек, я, Саша, какашка Советского Союза.

– Оля, ты сегодня что-то бледная. Правда, Николай Петрович, она бледная.
– Будешь тут не бледная, Рома опять рассчитался. За прошлый месяц не заплатили, он плюнул и ушёл.
– Пусть приходит на моё место, а я уйду на пенсию.
– О чём вы говорите, он рисовать не умеет.
– Я тоже плохо рисую.
– Не прибедняйтесь, он совсем не умеет.
– Господи, кто это поймёт. Даже, если он что-то сделает не так, всё равно он этим никого не убьёт и даже не покалечит. Он же знает, в какую сторону пишется буква «г», так пусть приходит и пишет афиши вместо меня.
– Мне не до шуток. Я боюсь, как бы он не записался в минёры. Вот вы, Николай Петрович, служили в армии, скажите, это очень опасно – быть минёром?
– Ну, если сейчас берут в минёры кого попало, то, наверно, уже не опасно.
– Почему кого попало, их посылают на шестимесячные курсы, а потом они разминируют серую зону.
– Лучше, Оленька, пусть идёт на моё место. Правда, и тут можно стать инвалидом, но только на голову. А это никому не заметно. Вы же не замечаете, что я инвалид?
– Замечаем, что вы не хотите разговаривать с нами серьёзно.
– Николай Петрович, вы бы жили с моей Наташкой?

- Саша, Бог с тобой, о чём ты говоришь?
- Ну, вы же знаете её.
- Так что из этого?
- Мне кажется, мы надоели друг другу.
- Мы с женой надоели друг другу сорок лет назад. Жена, Саша, это не компьютерная игра. Между людьми существуют определённые обязательства. Ты же обещал её любить?
- Так что, я не могу разлюбить?
- Можешь, разлюбить можешь, но забрать назад обещание не можешь.
- А как же тогда жить без любви?
- Так и жить, делать вид, что любишь. Тут нет ничего особенного, мы сплошь и рядом делаем вид. Делаем вид, что нам не жалко, что нам не страшно, что мы сочувствуем, что нам нравится, ну и, в конце концов, что мы любим. Что тут такого? Это ещё ерунда по сравнению с тем, что приходится делать вид, будто ты живёшь.
- Ну, я бы не сказал, что я её не люблю, но иногда нам не о чем говорить и секса не хочется.
- Саша, я не психоаналитик, разбирайся сам, только не надо перекладывать свою вину на других. Если тебе с нею скучно, это не значит, что виновата она.
- Саша покачивал на весу белой кроссовкой.
- У нас сегодня репетиция. Не хотите послушать?
- У нас в кукольном театре, в Ташкенте, была совсем другая атмосфера.
- Что вы сравниваете.
- Как вы думаете, наша новая директор имеет какое-нибудь отношение к культуре?
- Не произносите это слово.
- Что такое?
- Культура кладбище надежд. В неё, как лепестки цветов, осыпаются все, кто не достиг настоящего профессионального мастерства. Простите, Татьяна Викторовна, ради бога.
- Вы слишком строги. Не всем же заниматься высоким искусством, надо кому-то нести его в массы.
- Ох уж эти мне массы.
- Где бы мы ещё нашли работу. Я пробовала в девяностые торговать на рынке.
- Николай Петрович, посмотрите, пожалуйста... Как вам? – Оля надела на голову вязаную шапочку.
- Хорошо.
- А так?
- Нормально. У тебя хороший вкус.
- Оля вздохнула.
- Что? Роман записался в минёры?
- На её глазах были слёзы.
- Сразу деньги принёс, семь тысяч.
- Нас, Николай Петрович, пригласили сыграть в «Галактике», а после концерта там такие бабы нарисовались... Короче, Наташка мне сказала: «Иди туда, где ночевал». С вами такое случалось?
- Не помню.
- Не хотите говорить?
- Серьёзно, не помню. Вообще-то, я человек осторожный, если не сказать трусливый. Я всегда боялся последствий.
- Наверно, это правильно быть осторожным, а то что теперь мне делать?

– Просить прощения.
– Просил.
– Попроси ещё. Я думаю, она простит.
– Почему вы так уверены?
– Подумай сам, зачем ей эта нервотрёпка, зачем что-то менять? Позлится и простит.
– Хорошо бы. Мне тоже не хочется ничего менять. Вы меня в прошлый раз убедили, можно жить и без любви.
– Я так тебе говорил?
– Вы не помните?
– Может, ты не понял меня?
– Как? Вы говорили, что можно делать вид, что любишь.
– Да? Надо же, какую чушь я тебе говорил. Без любви – это не жизнь, а господнее наказание. Пока молодые, ещё куда ни шло, можно отвлечься на работу, подгульнуть. Но, что вы будете делать в старости, когда начнутся болячки, когда нужно будет ухаживать друг за другом, в буквальном смысле выносить горшок? Нет, без любви это превратится в истязание, в настоящую Голгофу. Без любви Наташка станет для тебя чужой отвратительной старухой, которая каждый день будет жаловаться тебе, что у неё болит там и там, а у тебя самого болит, и каждый из вас будет думать, как же ты не понимаешь, что мне плохо. И вместо сочувствия злость, и вчера, и сегодня, и завтра. Жизнь без любви обман. Что такое обман? То, чего нет. Значит, жизни-то нет. Она, как бы, проходит мимо тебя. Ты подумай про это.
– Я что-то совсем теперь не понимаю, просить мне прощения или нет?
– Конечно, проси. Зачем ссориться.

– Николай Петрович, вы ностальгируете по Советскому Союзу?
– Нет, девчата, не ностальгирую.
– Почему? Многие в вашем возрасте ностальгируют.
– Я не люблю вспоминать прошлое. По-моему, прошлое – как грязь, приставшая к ботинкам. Идёшь, а за тобой тянутся следы. Нет, лучше не оглядываться.
– Но можно же вспоминать хорошее. У каждого в жизни бывает хорошее.
– Хорошее... да, было и хорошее.
– Вы попьёте с нами чаю?
– Нет, девчонки, мне некогда.

– Саша, ты знаешь, почему динозавры были большими?
– Нет, Николай Петрович.
– Потому что в атмосфере было больше кислорода. Значит, организм лучше насыщался кислородом, интенсивнее шёл обмен веществ, быстрее накапливалась масса.
– Вы, наверное, «Дискавери» смотрите.
– Я вот что подумал.
– Что?
– Кислород важная штука. От кислорода зависит, какой ты человек.
– В каком смысле?
– Если организм хорошо снабжается кислородом, человек активен, быстро соображает, полон задора и веселья. Таким сопутствует успех, они выигрывают конкуренцию. Если ты знаешь такого человека, имей в виду, что в нём полно кислорода и пламя внутри горит ярко. Мы привыкли рассуждать про характер, способности, и думаем, что это что-то идеалистическое, не поддающееся материальному объяснению. Ерунда. Всё дело в кислороде. Я подозреваю, все мои неудачи, вся моя тупость от недостатка кислорода. Я тут, недавно, сдал анализ крови. Врач сказал, что у меня пониженный гемоглобин. Понимаешь? Это всё объясняет.

- По-моему, вы нормально соображаете.
- Саша, я не помню ни одного стихотворения, четырёх строк... Мой дядя самых честных правил... – и всё, темно.
- ...Когда в не шутку занемог...
- Вот видишь, ты помнишь, значит, твой мозг получает больше кислорода.
- Если бы всё было так просто.
- Не просто, но это фундаментальный фактор, который лежит в основе. Но во всём, Саша, есть обратная сторона медали. Кислород способствует быстрому окислению, выгоранию, старению. С недостатком кислорода легче сохраниться, как в болоте. Так что у меня есть шанс прожить долго. Покроюсь тиной и буду потихоньку дышать ноздрями. Тоже жизнь. Ты как, помирился с Наташкой?
- Помирился. Она вообще не умеет долго дуться.
- Тебе повезло. А моя после ссоры ни разу первая не заговорила. Мне кажется, если бы я на её глазах начал вешаться, она всё равно не сдалась бы. Вот такая сучка.
- У меня сестра такая. Помню в детстве...
- Саша у вас? Там его новая ищет.
- Татьяна Викторовна, у вас две внучки?
- Три. Две девочки у старшей дочери и одна у младшей. Я, две дочери, три внучки... мы, как соберёмся вместе, представляете, шесть баб. Да ещё если кто-нибудь из студии подойдёт... Ко мне две такие девочки ходят, близняшки... я хочу их на Святого Николая ангелочками сделать.
- Саша, тебе не кажется, что культура пахнет лакейством?
- Это как?
- Ну, вот играете вы с ребятами в кафе, разве это не «что вам угодно». Вы же вынуждены угождать вкусам публики. Я прекрасно представляю, как это выглядит.
- Почему? Мы стараемся предложить свой репертуар. Нам ведь тоже интересно исполнять нами любимую музыку.
- Да, но потом к вам подходит какой-нибудь паж с деньгами и говорит: а ну-ка сбавьте мне то-то и то-то. Я не осуждаю, просто надо понимать своё место в пространстве. О культуре принято говорить с придыханием, как о высоком, тонком, изысканном.... А на деле это просто шелуха. Семечки в музеях, академических залах.
- Не всем же быть гениями.
- Да я не про то, я про лакейство. Обслуживание культурой. Подайте нам культуры, мы хотим культурно отдохнуть. Чувствуешь себя половым в трактире. Разносишь на подносе культурную снедь, а тебе могут сказать: это плохо сервировано, это не свежо, дайте нам чего-нибудь горячего или острого. Что-то в этом есть пошлое.
- Ну как? Ты познакомился с новым директором? Она очень молодая?
- Не очень.
- Сколько ей лет?
- Выглядит лет на сорок пять.
- Так это уже не молодая.
- Всё равно соплячка. Я одного не могу понять, что у них в голове? Симпатичная, и знает, что симпатичная. Я вижу, что ей нравится быть привлекательной, но зачем тебе в этом случае директорство? Ни один нормальный мужчина не сможет игнорировать привлекательность. Если её хочется трахнуть, какой к чёрту она директор.
- Вот ещё новости, что я слышу?
- А что ты думала? Любая женщина для мужчины потенциальный объект вожделения. Представь себе разнополую пару на необитаемом острове. Неужели там потребуется любовь?

– Прекрати, тебя противно слушать.
– Конечно, мне самому противно. Сущность, она вообще противная штука, поэтому мы всегда прячем её за разными выдумками, накрываем голову подушкой нравственности.

– Мы, Саша, давно с тобой не пили.
– Сегодня не могу, у нас вечером репетиция. Оставайтесь послушать.
– Вам пора подумать, куда свалить отсюда. Надо развиваться.
– Мы думали, но это не так просто. Во-первых, нас нигде никто не ждёт. В Киеве знаете сколько таких. К тому же каждого тут что-то держит: семья, работа. Если бы знать...

– Можешь не продолжать. Если бы знать, что получится и всё такое. Свет мой, зеркальце, скажи... Пойдёшь налево – коня потеряешь, пойдёшь направо – голову сложишь, останешься в грёбаной Курдюмовке – мхом порастёшь.

– Ну, а что? Наташка мне сразу говорит, где мы жить будем, где деньги возьмём? Вы думаете, я не понимаю, что тут мы не развиваемся? Вы жалеете, что в своё время не уехали?

– Жалею, Саша не то слово, я ненавижу себя за это. Причём то, что не уехал, как бы следствие, а причиной явилась трусость. Мужчина трус. Что может быть омерзительнее.

– Я заметил, вы любите наговаривать на себя.

– Саша, я в том возрасте, когда могу позволить себе быть самим собой. Мне нет уже нужды кем-то казаться. Я довольно неожиданно понял, что быть собой даже интереснее, несмотря на все свои недостатки. Может быть, потому, что ты становишься ни на кого не похожий. Да, невзрачный, гнилой, но не похожий. Почему-то это важно и интересно. И вообще, я всё больше и больше себе удивляюсь, как многого я в себе не замечал. Я всю жизнь сравнивал себя, искал схожести с тем-то и тем-то, с Базаровым, Ростовым, Левиным, со знаменитыми художниками, а оказалось, что все схожести скучны, а интересны особенности, пусть даже эти особенности делают меня никчемным человеком.

– Николай Петрович, вы не могли бы наточить мне ножницы?

– А-а, Марина. Наконец ты вспомнила обо мне.

– Я всегда о вас помню, только мне идти к вам далеко.

– Да уж, конечно, на другой край света.

– Вы представляете, новая предъявила мне претензии.

– Что же она тебе сказала?

– Говорит, костюмы у коллективов не выразительные. Как будто я их шью.

– И что ты ей ответила?

– Так и сказала: я их не шила, я только храню. «Вот и плохо, что не шьёте». Мне за это никто не платит.

– Ты так и сказала ей?

– Подумала. Зачем мне неприятности. Кто его знает, что она за человек, ещё вьётся. Знаете, какие бывают... Вы помните, давно, у нас на базаре точильщик был, грек. Мы с мамой всегда к нему носили ножи точить.

– Конечно, помню: и точильщика, и фотографа, и сапожника. У него ещё кличка была Чистим-блистим.

– Да-да, кажется, я тоже помню.

– И парикмахерскую помню... уже на выходе... с печкой. Помню, на печке стоял всегда алюминиевый чайник и шумел. Так тепло было от пара.

– Тогда же мужчины ещё брились в парикмахерских.

– Да. И парикмахер еврей, маленький, с блестящей лысиной и усами. Я тогда ещё не знал, что на лице могут расти волосы, как на голове и думал, что они у него приклеены. Причём я себе воображал, что волосы для его усов состригли с какой-то козы.

– Вы знаете, что у Оли муж... как это... в сапёры завербовался. Она, бедная, так переживает.

– Ну, вот сегодня можно и выпить. Вы так и не пришли к нам на репетицию.

– Торопился домой. Жена позвонила, крап потёк.

– Отремонтировали?

– Да. Ты сбегашь?

– Конечно, я же моложе.

– Много колбасы не бери.

– Почему?

– Да ну её к чёрту.

– К вам новая не заходит?

– Была пару раз.

– Ну да, чего вам бояться, вы на пенсии.

– Ну, Саша, за нас, красивых.

– Вы прошлый раз говорили про холуйство...

– Холуйство...

– Нет... как вы тогда сказали... лакейство, я с вами не совсем согласен. Вернее, я хотел сказать, что в этом нет ничего плохого. Сфера услуг, она и не может быть другой.

– Не люблю я это слово – услуг. Слуга, услужить... Не хочу я никому услуживать. Я профессионал, я знаю, как должно быть, и я так делаю. И никакого услужения в культуре быть не должно. А если заказчик понукает тобой, значит, телега становится впереди лошади. Вкус должен определять мастер. Культура учитель, а не лакей.

– А как же: кто платит, тот и заказывает музыку?

– Это и есть телега впереди лошади. И деньги, и музыка должны быть в одних руках.

– Тогда не будет никакой музыки. Зачем музыка, если уже есть деньги?

– Ты отрицаешь свободный труд и свободное творчество. Ты отсталый человек, Саша.

– Может быть, но я знаю, что сегодня всё в мире делается ради денег, и искусство не исключение.

– Да?

– Да.

– Ну, тогда я старый идеалист. Не ожидал от себя. За нас, умных. Что Наташка?

– Сказала, что теперь будет ходить на все наши концерты.

– Пасти тебя?

– Вроде того. А вы, как, в молодости прелюбодействовали?

– Нет, что ты, Саша. В наше время секса не было. Тогда ничего не было: ни секса, ни рок-н-ролла, ни евреев, ни колбасы, ни сыра, ни сливочного масла, ни обуви приличной.

– Что-то же должно было быть?

– Двадцать четвёртый съезд КПСС был. Вернее, сначала двадцать третий, но мне больше запомнился двадцать четвёртый. Может быть, потому, что я уже работал оформителем, и мне приходилось десятки раз писать тезисы в школы и разные конторы. Я уже думал: ещё год – и я залезу на стол ногами на эти тезисы и повешусь на электрическом проводе, но, к счастью, я дотерпел до конца. Давай, Саша, за нас, терпеливых. Когда-то тут, недалеко, по Леваневского, в бараке была оформительская мастерская. Одно время нас в ней было человек двадцать. И директор был, и завхоз, и автобус с водителем, и даже корректор был, как в редакции. Работы было невпроворот, и

платили хорошо, а мне было плохо. Может быть, я просто дурак? Ведь мне и сейчас плохо, мне, наверно, всегда и везде будет плохо. Говорят, есть такой гормон, серотонин называется, гормон счастья. Так вот, может дело не в тезисах и не в общественно-политической обстановке, а в том, что у меня в организме нет этого серотонина? Мне просто нечем радоваться. Когда у человека нет зубов, ему нечем жевать, а мне без серотонина нечем радоваться. Я всё понял. Наверняка есть гормон, который нагоняет тоску. Ты не слышал про такой?

– Нет.

– Есть, не может быть, чтобы не было, потому что тоска самое беспочвенное чувство. Я даже привык к тоске. Бывает, что её какое-то время нет – и мне не по себе, чего-то не хватает. Ну, за нас, тоскливых, пить не будем... Выпьем, Саша, за нас... каких?

– Нас страждущих.

– Чего?

– В общем.

– Да, молодец.

– Ты где пил? На работе? Ты что, дурак? Хочешь, чтобы новая тебя уволила, да ещё в трудовую статью написала?

– Какую статью? Я пенсионер, пусть пишет, что хочет.

– Так опозорит на весь город.

– Ты преувеличиваешь мою популярность. Весь город слышать обо мне не слышал.

– Так твои знакомые художники порадуются.

– А вот это идея. Почему бы не доставить людям радость.

– Что с тобой говорить.

– Таня, ты, в самом деле, рассказываешь какие-то страсти. А то я никогда не пил на работе.

– Гарьевна смотрела на это сквозь пальцы, а эта ещё неизвестно, как посмотрит на ваши пьянки. Я больше чем уверена, что она постарается это прекратить.

– Ещё не было такой могучей силы, которая могла бы побороть русский народ со всеми его причудами.

– Не паясничай. Какой ты русский? Ты хохол несчастный.

– Ну, и ничего страшного. Ты тоже у меня хохлушка... обрусевшая.

Николай Петрович полез целоваться.

– Может быть, Рома меня обманывает, чтобы я не переживала, но говорит, что они к минам прикасаться не будут.

– А что же они будут делать?

– Они будут только их искать. Ну, это другое дело, правда, Николай Петрович?

– Конечно. Мы в своё время тоже после стрельб прочёсывали полигон в поисках неразорвавшихся снарядов. Выстроили нас цепью, выдали палки с табличкой – и вперёд. А трава на полигоне по пояс, хрен что в ней найдёшь. Зато ежевики много было.

– Ну и находили или нет?

– Находили. Снаряды, они вообще довольно часто не разрываются.

– Хоть бы они никогда не разрывались.

– Николай Петрович, не может быть, чтобы в ваше время не было секса.

– Саша, ты что, глупый? А откуда бы взялось ваше поколение? Помню, в училище нас каждую осень посылали на трудовой семестр.

– Это как?

– Ну да, откуда тебе знать: как? В какой-нибудь колхоз спасти урожай. Под Батайском, помню, яблоки собирали, в Багаевском районе помидоры. Селили нас обычно прямо в поле в сколоченных из фанеры бараках. Ох и мёрзли мы в них. В октябре уже

заморозки бывали. Так вот, был среди нас Вова... Вова... не то Коваленко, не то Коновалов, забыл, он с нами в бараке больше одной ночи не ночевал. Молниеносно находил какую-нибудь повариху, молочницу, а то и бригадиршу. Был всегда чистый, обстиранный, но уставший, засыпал на поле. Были люди в наше время... как там дальше?

– ...не то, что нынешнее племя...

– Вот именно.

– Ну, а вы, не баловались?

– Хочешь услышать от меня какую-нибудь пикантную историю?

– Не хотите, не рассказывайте.

– Здравствуйте, Николай Петрович. Это ваши картины?

– Мои.

– Вы что, абстракционист?

– Нет, что вы, это я просто балуюсь, экспериментирую.

– Балуетесь на работе?

– После работы, в свободное время.

– Почему бы вам не вести изокружок?

– Ну, я, как бы, уже не в том возрасте.

– Если вам мешает возраст, надо сидеть дома.

– Эх, Саша, похоже, дни мои сочтены.

– Что такое, в каком смысле?

– Да так, у новой есть претензии к моему возрасту.

– В таком случае она просто дура. Где она ещё найдёт такого специалиста, как вы.

– Я подозреваю, он и не нужен здесь такой. Не то чтобы я был о себе высокого мнения, но, согласись, то, чем мы тут занимаемся, полная чушь.

– Так нам и платят ерунду.

– И платят ерунду, и требуют ерунду, и, вообще, ответь мне на такой вопрос: зачем я учился отличать Мазаччо от, скажем, Пьера делла Франческо? Ну, понятно, мне самому это было интересно, но неужели общество не могло бы воспользоваться моим знанием?

– Шли бы преподавать.

– Я пробовал, но меня задолбали писаниной, проверками и просто некомпетентностью. Теперь она требует, чтобы я вёл изокружок, вытирал шестилетним девочкам сопли. Я представляю эту картину: старик, окружённый современными малышами. Мне их матери кажутся детьми. Нет, она права, возраст есть возраст.

– Николай Петрович, вы давно женаты?

– Давно.

– Мы к дню семьи готовим чествование семейных пар. Не хотите с женой поучаствовать?

– Да, что ты, Надюш. Господь с тобой.

– Почему? Спонсоры хорошие подарки приготовили. Чем отдавать их чужим...

– Нет, и не выдумывайте. Тем более, что у нас нет никакого юбилея.

– А сколько у вас?

– Тридцать с чем-то...

– Таня, на день семьи у нас будут чествовать счастливые семейные пары.

– Да? Кто же это такие?

– Ищут.

– Ещё не нашли?

– Не знаю. Хотели предложить Татьяне Викторовне, но оказалось, что она вдова.

– И никто не знал?

– Забыли. Потом думали Сашке предложить, а они с Наташкой не расписаны. Нам предлагали, но я отказался.

– Почему? Мы что с тобой, не счастливая пара?

– Счастливая, но неудобно.

– Я бы и не пошла. Нечего цирк устраивать.

– С микрорайона насобирают. Слушай, а что если я рассчитаюсь?

– Начинается. Я так и знала, что новая тебя выгонит.

– Что значит выгонит? Никто меня не выгоняет, просто...

– Просто... Ты не забывай, какая у тебя пенсия.

– Так что мне теперь, до самой смерти работать?

– Не знаю.

– Николай Петрович, у меня к вам дело: одна моя знакомая хочет заказать портрет мужа с фотографии. Вы как? Не могли бы сделать?

– Татьяна Викторовна, я с фотографий не пишу.

– А как вы пишете?

– Да уже никак.

– Почему? Неужели вам помешает лишняя копеечка?

– Да как вам сказать, копеечка, конечно, не помешает, только я не хочу зарабатывать её таким образом.

– Я вас не понимаю, как художник ещё может заработать?

– Я думаю, ваша знакомая не знакома с живописью. Ей просто нужна большая фотография, но при этом, чтобы она могла сказать, что обращалась к художнику.

– Но почему вы так думаете? Вы же её не знаете.

– Мне и не нужно её знать, я знаю наш город. Я скорее напишу портрет бесплатно, чем за деньги, потому что в нашем городе, если я возьму столько, сколько это стоит в самом деле, меня примут за сумасшедшего. Поэтому я и не пишу портреты и вообще не пишу.

– Как у вас всё сложно. В таком случае, может быть, вы знаете, к кому можно обратиться?

– Обратитесь к Андрюшко, я дам телефон.

– Так что это за разговоры про увольнение?

– Я, Таня, пошутил.

– Хороши шуточки. Ты знаешь, сколько сейчас газ стоит!

– У меня что-то в боку колет.

– В каком?

– Вот здесь...

– Сходи к врачу.

– Серёжка не звонил?

– Звонил.

– Как у него?

– Нормально. Слава богу, перестали стрелять.

– Думаешь, надолго?

– Чёрт их знает. Всего можно ждать.

– Не хотите с нами чаю?

– Я бы водочки.

– Мы боимся, нам скоро и чай запретят пить. Вы какого мнения о новой?

– Кислая дамочка.

– Это как?

– По-моему, она слишком серьёзно отнеслась к своему назначению. Это признак глупости.

– Вы очень категоричны, Николай Петрович.

– Я вообще противный человек.

– Неправда.

– Ты, Марина, добрая. Для тебя, наверно, не бывает плохих людей.

– К сожалению, бывают, но я никогда не скажу об этом человеку в лицо, потому что если человек дрянь, он всё равно этого не поймёт. Только заработаешь себе лишние неприятности.

– А по-моему, надо говорить человеку, что он дрянь. Вещи надо называть своими именами.

– Не судите, не судимы будете.

– Ох, уж эта мне библия... Там специально всё так написано, чтобы на все случаи жизни было, и вашим, и нашим: трудись в поте лица своего... птица не сеет, не жнёт, а питается... Не поймёшь...

– Ты, Надька, богохульница.

– Бросьте вы. Николай Петрович, поддержите меня.

– Я когда-то, девочки, давно, в одной из школ оформлял «Музей атеизма», а в девяносто третьем на него повесили табличку: «Музей истории религии». Как правильно сказать: в лоб или по лбу? Мне другое не нравится: не нравится, что религия присвоила себе духовность, нравственность, мораль. Всё, что помимо религии, бездуховно, безнравственно, аморально. Я этого не понимаю. По какому праву? Объясните мне? Только религия заботится о духовности... Чушь.

– Но, если вы не верите в бога, значит, вы и в существование души не верите, а без души какая духовность?

– Душа – это сознание. Как можно не верить в сознание? Вместо «духовность» можно сказать «сознательность».

– Ну... сознательность... как-то по-школьному. Это про сознательного ребёнка.

– Да нет, всё дело в стереотипах, в привычке понимать так, а не иначе.

– Печенье, девочки, вкусное.

– Татьяна Викторовна, почему вы к нам не заходите, мы только что чай пили.

– Да я заглянула, а у вас тут Николай Петрович.

– Ну и что?

– А-а, не люблю я его как-то.

– Почему?

– Какой-то он, мне кажется, неискренний, и любит говорить гадости.

– Наоборот, он очень откровенный, поэтому и получают гадости.

– Николай Петрович, догадываетесь, зачем я вас пригласила?

– Нет.

– Я возвращаюсь к вопросу об изокружке. Если вы не можете или не хотите вести изокружок, мне придётся кого-то пригласить. Но тогда я буду вынуждена забрать у вас полставки. Так что на вашем месте я бы подумала. Неужели это так сложно – два три раза в неделю позаниматься с детьми?

– Не сложно.

– Так в чём дело?

– Я подумую.

– Только не долго.

– Терпеть не могу, когда ты вот так сидишь. Напихал полон рот и замер. Что уже случилось? Уволила?

– Нет.

– Так в чём дело? О чём задумался?

– Так просто.

– Ешь.

– Что интересно: ты сама выбирала себе такого мужа, чтобы можно было управлять, а теперь тебе не нравится, что я размазня.

– Отчего ты так решил?

– Что?

– Что я выбирала? Какой попался, такой и попался.

– Как в капкан?

– А кто вам виноват, что вы попадаетесь.

– Действительно, кто нам виноват. Тестостерон виноват.

– Что ты там бурчишь?

– Ничего. Сейчас вообще живут не расписываясь.

– Мир катится чёрт знает куда. Придумали какое-то ЛГБ... не выговоришь. Ужас!

– А раньше, помнишь, какие семьи были? Бабу Валю с третьей квартиры муж бил как сидорову козу, и Степановну с детьми мужик на улицу выгонял, ночевали у соседей, и тётку Галку муж лупил, а Помазанова сама дядьку Тольку колотила. Однажды в подъезде так его головой об стенку трахнула, что у него чуть мозги не выскочили. И пили все безбожно. Помню, отец придёт домой уже пьяный и ещё чекушку с собой в кармане принесёт. Выливает её в стакан и залпом... а потом заваливается спать. А ведь интеллигентом считался, инженер. Какой он нахрен интеллигент, у него мать, моя бабка, безграмотная была, писать не умела. Ты знаешь, как он в институт поступал? В сорок пятом вышел из госпиталя на костылях, а в институте женщина декан, у неё сын лётчик погиб на фронте. Она увидела лётную гимнастёрку, отец механиком был в эскадрильи, костыли, расплакалась и приняла его в институт. Не может быть интеллигента в первом поколении, как не может быть перегнутой от одного упавшего листа. Вообще, революция наделала нам дел. Она не только своему поколению изуродовала жизнь, она мне изуродовала жизнь. Мои деды были крестьяне. Они с малолетства приучались к крестьянскому быту и труду, и у них и мысли не возникало, кто они и зачем. Потом, уже после революции, появляется на свет мой отец. Ни земли, ни дома, ни устоявшегося образа жизни, ни представления кем ты должен быть, чем заниматься, где и как жить, а потом появляюсь я, и я уже настолько оторван от земли, от результатов реального труда, что вообще оказываюсь в каком-то космосе, в выморочном, выдуманном мире. Ещё сопливному мне вдруг приходит в голову, что я могу быть художником. Причём я понятия не имею зачем? Зачем мне быть художником и кому это нужно, чтобы я стал художником? Но мало того, что я сам не знаю, зачем я художник, но выясняется, что никто вокруг не знает, зачем им художник? Ах, мальчику нравилось рисовать... А кому-то нравилось лазить по деревьям...

– У уборщицы, Клавдии Васильевны, муж умер.

– А что с ним?

– Он давно у неё болел. Чернобылец. Мы собираем, кто сколько может. Подойдите к дежурной.

– Хорошо.

– Вы слышали?..

– Слышал. Вы его знали?

– Нет.

– Николай Петрович, вы не подскажете, какие юбки подобрать под эти кофточки?

– Лучше, если они будут немного темнее.

– Ножницы теперь так хорошо режут.

– Я могу идти на базар точильщиком?

– Представьте, что теперь не к кому и обратиться. Хорошо, если в доме есть мужчина. Да и не всякий мужчина сумеет хорошо наточить. У моей подруги муж не может даже лампочку вкрутить, всё сама делает. Я ей говорю, зачем он такой нужен.

– Ну, вы, Марина, очень меркантильно смотрите на мужчин. Иногда с ними просто приятно поговорить.

– Поговорить можно где угодно, мы же с вами разговариваем, а в доме должен быть хозяин.

– Может вы и правы.

– Николай Петрович, мы с ребятами новую темку разучиваем. Вот, послушайте, я вам наиграю... не узнаете?

– Нет, Саша.

– Ну, это же «Скорпионс»... Вы как вообще, любите рок?

– Люблю. Вы бы что-то своё играли.

– Мы играем, но иногда, знаете, просят исполнить что-нибудь популярное. На свадьбах приходится и попсу играть.

– Вот и плохо.

– Я тоже говорю ребятам, но с другой стороны, если есть возможность заработать.

– Да.

– Я понимаю...

– Да, я тоже понимаю.

– С чего ты решила, что меня так легко уволить?

– Я знаю тебя: она тебе что-нибудь скажет, и ты сам напишешь заявление.

– Что такого она может сказать, что я ещё не слышал, что я ещё не пережил. Нет, она против меня соплячка, меня весь исполком знает.

– Ну и что? Всё равно она директор, а ты кто?

– Как тебе нравится колоть меня, тебе доставляет удовольствие делать мне больно.

– Я у тебя научилась.

– Неужели нельзя признать свои недостатки, почему я вижу в себе говно? Кого не послушаешь, все такого мнения о себе, ну просто ангелы, чёрт возьми. Почему не признать, что да, я чёрствая, я злая, я никогда тебя не любила, а жила только потому, что статус замужней женщины приносит удовлетворение, что так ты чувствуешь себя полноценной женщиной. Что тут сложного, сказать правду? Что меня бесит в тебе, так это неспособность признавать свои недостатки. Ну, скажи: да, я не люблю готовить, да, я не люблю тебя, да, ты мне нужен, чтобы все видели, что я замужем.

– Зачем мне признавать? Чтобы тебе было легче оправдывать себя? Я плохой, но и она плохая, я не люблю, но и она не любит?

– С чего ты взяла, что я не люблю?

– Любил бы – не упрекал.

– Я не упрекаю, я добиваюсь ясности.

– На старости лет ему понадобилась ясность. Ты думаешь, я не замечала, как ты всю жизнь мучился со мной, как тебе хотелось избавиться от меня? Если бы я умерла или сама бы ушла от тебя, ты только бы перекрестился. Ты думаешь, я этого не видела, ты думаешь, мне легко было это терпеть? Какой ясности тебе нужно? И так всё ясно.

– А ты не спрашивала себя, почему же я живу с тобой?

– Спрашивала. Потому что тебе так удобно было, потому что я от тебя ничего не требовала, как другие. У меня за всю жизнь ни одной шубы не было, ходила в одних и тех же сапогах по десять лет.

Николай Петрович встал перед окном и смотрел на мусорный контейнер, над которым склонились два бомжа.

– Сань, а почему вы с Наташкой не расписываетесь?

Саша любил носить чёрные майки с какими-нибудь страшными рожами.

– Денег на свадьбу нет. А потом, разве нельзя жить не расписываясь? Если будет ребёнок, тогда и подумаем. Почему вы спросили?

– Просто... Думал, как меняется жизнь. Раньше женщины так зависели от замужества. Либо она замужем, либо несчастная женщина. А что счастливого они видели замужем? Пьяные рожи, мордобой, стирку по ночам? И жили, цеплялись за семейную жизнь как за единственно возможное существование. А теперь, чуть что не так, сразу разбежались, и всё.

– Это, по-вашему, хорошо или плохо?

– Я потому и заговорил об этом, что не знаю. Наверно жизнь меняется, чтобы стать лучше. Сейчас у людей больше свободы, больше самоуважения, самостоятельности. Особенно у женщин. Постепенно мы к этому привыкаем, и нам кажется, что это нормально, а было ненормально. Ты много встречаешь на улице беременных женщин?

– Даже не помню, когда видел в последний раз.

– А раньше, скажем так, лет сто назад, всего сто лет назад, но может быть и меньше, здоровые женщины практически всегда были беременны.

– Откуда вы знаете?

– Так это и так понятно. Отчего им тогда не быть беременными. Разве это отчего-нибудь зависело, кроме природы. У женщины не было выбора. Она от природы не свободна. Эмансипация – это освобождение от роли женщины. Теперь женщина сама решает, быть ей женщиной или не быть. Большинство попробуют один раз, смолodu, пока ещё ума нет, и зарекаются. Свобода – большой соблазн. Соответственно, изменилась роль мужчины. Но так как она изменилась не сама по себе, а под влиянием женщин, мы этих перемен не замечаем. Когда мой отец принимал ванну, мать после него шла вымывать ванну, а я уже сам после себя мою её. Вот такой пустяк, незаметный, но говорящий о многом. Женщина перестала быть служанкой. Но, Саша, любить её теперь труднее, потому что мы часто любим за слабость, беспомощность, зависимость от нас. Это как любовь к детям, пока они маленькие, мы души в них ни чаем. Но стоит им вырасти, огрубеть, стать независимыми – и они очень часто вызывают в нас раздражение, отчуждение, неприязнь. Если женщина с сильным характером, да ещё и независима – такая размазня, как я, чувствует себя рядом с нею проигравшим соперником. Тут надо либо менять психологию, либо застрелиться.

– Наташка ещё в семнадцать лет сделала аборт. А у вашего сына есть дети?

– Нет, он не женат.

– И не был?

– Был. Но обошлось без детей. Я же говорю, сейчас беременную женщину не встретишь. Чаще увидишь её за рулём автомобиля или в директорском кресле.

Директор вертела в руках блестящую шариковую ручку. Пальцы её были длинные, с маникюром зелёного цвета.

– Ну, вы решили?

– Да.

– Что вам для этого нужно?

– Помещение. В мастерской будет не совсем удобно.

– Хорошо. Надо подумать. Может быть, в двадцать шестой? Что у нас там? Пианино? Оно расстроено, на нём никто не играет.

– Если в девятнадцатой?

– Девятнадцатой? Где у нас девятнадцатая? Ах, девятнадцатая... она в ужасном состоянии.

– Сделать ремонт.

- На это же понадобится время, а я хотела, чтобы вы приступили с начала учебного года.
- Можно приступить в двадцать шестой, а в девятнадцатой делать ремонт.
- Наверно, так и решим, если нам дадут деньги. Вы начинайте набирать группу, напишите рекламу... и, да, составьте программу. От нас, наверно, потребуют программу.
- Кто?
- Отдел культуры.
- В отделе культуры есть специалист по программе обучения изобразительному искусству?
- Наверно существуют уже утверждённые программы. Поищите, пожалуйста. Я так понимаю, что без программы нам никто не разрешит этим заниматься.

- Николай Петрович, это правда, что вы собираетесь вести изокружок?
- Я? Ну, в общем, я согласился. Тебе новая сказала?
- Да. Она морочила мне голову про какую-то программу. Говорит, поищите с Николаем Петровичем программу. Вы знаете, о чём речь?
- Знаю, Надюш. Я поищу.
- Замечательно. Приходите к нам чай пить.
- Не хочу.
- Ну, водки у нас нет.

- Николай Петрович не в духе.
- Да? Как ты это определила?
- Неразговорчивый.
- С ним это бывает. Может быть, с сыном что случилось – он же в армии служит.
- Не знаю. Странно, что он у него не рисует. Мог бы научить. Моему Ромке предлагал своё место, а так бы устроил сына. Всё лучше, чем в армии. Переживать за него каждый день.
- Кто же знал, что будет война.

- Николай Петрович, меня директор к вам прислала.
- У Татьяны Викторовны был низкий, хриплый прокуренный голос.
- Здесь можно присесть?
- Конечно. У неё к вам претензии?
- Как вы догадались?
- Она ко всем с претензиями.
- Я вас не случайно спрашивала: новая имеет какое-то отношение к культуре?
- Да, меня самого занимает этот вопрос. Но с другой стороны, администратор и не должен вникать в творческий процесс.
- Я с вами согласна. А эта коза лезет. Начала мне указывать, чем должна заниматься театральная студия. Видите ли, мы должны зарабатывать деньги. Это мои десятилетние девчонки должны для неё зарабатывать деньги. Я работала в Ташкенте в кукольном театре. И, что вы думаете, он был на дотации. Представляете, профессиональные актёры на дотации, а она требует, чтобы я с детьми зарабатывала деньги.
- Я давно хочу вас спросить, почему вы уехали из Ташкента?
- Как почему? Союз распался. Ожидали всего чего угодно. Вы помните, турок-месхетинцев начали резать. Кто же думал, что и здесь война будет... Она не представляет, что значит сделать спектакль. Это же зрелище. Нужны декорации. Я потому к вам и пришла. Посоветоваться: мы сможем сделать хоть что-то, похожее на декорации?
- Сейчас, бывает, с одним стулом играют спектакли.

– Это когда профессиональные актёры, когда они могут удержать внимание зрителя. И зритель для этого нужен подготовленный. Я не думаю, что в нашем городе такой найдётся.

– Я думал об этом. Иногда, знаете, всё ещё приходят в голову серьёзные мысли. Без среды ничего невозможно сделать. Чтобы загорелся уголь, нужно сначала поджечь дрова, а чтобы загорелись дрова, нужно поджечь бумагу, а для бумаги нужна спичка. Так вот мы с вами находимся в ситуации, когда уголь есть, но нет ни дров, ни бумаги, и спички отсырели. Сера во мне вспыхнула и, не успев ничего поджечь, потому что рядом не оказалось бумаги и вокруг было очень сыро, спичка потухла. Видите, я обгоревшая потухшая спичка. Так что подносить ко мне бумагу уже бесполезно.

– Но хотя бы что-то мы можем сделать?

– Что-то сделаем. Что вы хотите поставить?

– Я ещё не решила. Конечно, ни о каком Брехте не может быть и речи.

– Разумеется.

– Хотя я с удовольствием попробовала бы сыграть матушку Кураж. Ну, да забудем. Итак, остаётся сказка. «Двенадцать месяцев»... Что ещё?

– Я не менеджер, но думаю, надо начинать с бюджета... Стоимость листа фанеры, костюмы и так далее...

– Вы меня ставите в тупик.

– Это не я вас ставлю в тупик, это, в принципе, тупиковая ситуация. Можно воображать себе всё что угодно, но для всего должны быть основания: для творчества, для претензий, для бизнеса. Любого умника поставь в глупую ситуацию, и он будет выглядеть глупцом. Не зря говорят, что один дурак может завести в тупик десять мудрецов.

– Так всё же, что мне ей сказать?

– Вам ещё много до пенсии?

– Три года.

– Три года, думаю, вы продержитесь.

– Вы мне поможете?

– Разумеется.

– Николай Петрович, к вам пришли.

– Кто?

– Говорит, художник, Андрюшко. Пусть заходит?

– Да.

– У вас дежурная настоящий цербер. Здравствуй.

– Заходи.

У Андрюшко близко и глубоко посаженные глаза.

– Думаю, зайду, спасибо за портрет. Мне сказали, что это ты порекомендовал меня.

– Может быть. Иногда приходят, спрашивают, кто может сделать.

– А что же ты? Почему сам не берёшься? Много работы?

– Да.

– Везёт.

– Да, везёт. Ты садись.

– Может, сходить в магазин?

– Если хочешь.

– Как у тебя со временем сегодня?

– Для этого дела время всегда найдётся.

– Сюда никто не зайдёт?

– Наливай.

– Давно мы вот так не сидели... Странно.

– Что?

– Многое странно. Странно, что мы так разобзились, что ли. Все по своим углам. Такое впечатление, что все чего-то боятся. Боятся потерять работу, высказать своё мнение, боятся, чтобы не узнали об их несчастьях, боятся, что кто-то сглазит.

– А ты не боишься?

– Да и я боюсь. Эта болезнь заразная. Все боятся сказать лишнего. Привет, привет и разбегаются. Даже спорить перестали. Я соседа спрашиваю: как ты думаешь, ещё долго война будет продолжаться? А он зыркнул на меня, говорит: не знаю, и убежал. А раньше, помнишь, как мы спорили... кто настоящий художник, кто не настоящий... Сейчас даже не верится в ту наивность.

– Да.

– Ты как живёшь?

– Костя, ну разве ответишь на такой вопрос? Что ты, в самом деле. Откуда я знаю, как я живу? Наверно, хорошо. Кто-то скажет, что хорошо, а кому-то моя жизнь не понравится.

– Пишешь?

– Нет.

– А это что?

– Баловство.

– Помнишь...

– Костя, я тебя попрошу: не надо этого «помнишь». Ничего я не помню и помнить не хочу. Это пошло, в конце концов. Вместо того чтобы честно признаться, что говорить не о чем, начинается это «помнишь». К чему?

– Вот, вот, я об этом и говорил, даже вспоминать никто не хочет, чтобы не дай бог что-нибудь не обнажилось, что-нибудь обезоруживающее. Эдакая крепость собственного сознания, собственных мыслей у каждого, охраняемая. Не пробьёшься. Чтобы ничего общего.

– Ты опять с Сашкой своим пил?

– Не угадала. Андрюшко заходил.

– Что это он о тебе вспомнил?

– Не знаю.

– И что он рассказывал?

– Ничего.

– Вы что же, молча пили?

– Ну, о чём мне с ним говорить? Такие как он отняли у меня профессию, а я буду с ним обниматься?

– А он знает о твоём отношении к нему?

– Если не дурак, должен догадываться.

– И вы сидели вместе, пили водку?

– Да, пили... А что тут такого? Конечно, по большому счёту, я должен был его убить, ещё тогда, когда я впервые увидел паскудно вымазанные холсты. Может быть, вызвать на дуэль и убить, но ни тогда, ни сейчас это уже не принято.

– За что убить, я не поняла?

– Я же сказал, такие как он отняли у меня профессию. У них с обывателем оказался общий вкус, и они не дали мне шанса как-то повлиять на него. Из-за них мои знания оказались бесполезны. Именно их обыватель признавал художниками, а я странный тип, со странными амбициями. Я всю жизнь чувствовал к себе это отношение. Как будто моё существование было ошибкой, недоразумением. Некоторые заказчики меня даже жалели. Обидней всего эта жалость была от наивных женщин дурочек. Я наблюдал за рожами, когда они рассматривали мою работу. У мужиков, даже самых простых, всё-таки проскальзывало в лице сомнение, колебание, а этим дурочкам даже в голову не могло прийти, что они чего-то не понимают. Зато Андрюшки со своими раскрашенными

картинками вызывали восторг. И я никого не убил, я всю жизнь это терпел. С меня медленно по миллиметру сдирали кожу, а я делал вид, что мне не больно, что у меня нет нервов. И вот он пришёл, чтобы напомнить мне об этом...

– Вы не подрались?

– Я утопил его в пожарной бочке.

– У вас вчера гость был? Я не стал вам мешать.

– Ты не помешал бы, Саша. Знакомый.

– Художник?

– Да, вроде того.

– О чём вы говорили?

– Саша, мы пили водку.

– Зря я не зашёл.

– Конечно, зря.

– Я думал, вы какое-нибудь дело обсуждаете. Общий проект.

– Какой там проект... Художники такой склочный, противный, самолюбивый народ, что они скорее перегрызут друг другу глотки, чем о чём-нибудь договорятся. Чтобы что-то делать сообща, надо непременно в ком-нибудь признать гения и трудиться под его беспрекословным руководством. Тогда ещё что-то может получиться. В противном случае все будут тянуть одеяло на себя, переругаются, чуть ли не до мордобоя. Сикейрос за пистолет хватался, если кому-то не нравились его росписи.

– Кто такой Сикейрос?

– Был такой художник в Мексике. Творчество по своей природе индивидуально. Даже там, где для этого надо много народу, всё держится на диктатуре руководителя. Если только он даст слабину, если только кто-то почувствует себя равным, всё пропало. Талантливых людей можно собрать вместе, но только строго ограничив задачу для каждого. Ты делаешь от а до б, ты от б до в, и потом всё это надо уметь собрать до кучи. Кому я рассказываю? У вас, музыкантов, тоже самое. Битлс распались... о чём говорить. Я лучше знаю, я лучше умею, я лучше понимаю, почему должно быть так, как хочешь ты, а не я?.. Банальность, но избежать её мало кому удаётся. Нет, во главе угла должен быть непререкаемый авторитет. Тот же Сикейрос, он же не писал росписи вместе с Ороско или Риверой. Брал себе студентов из художественных колледжей, они смотрели ему в рот и красили. А с Риверой в конце концов разругались. Кстати, Сикейрос участвовал в одном из покушений на Троцкого.

– Художник?

– Он коммунистом был, со Сталиным встречался... Глыба. А ты думал художники – это фигли-мигли, вроде меня? Какой я в жопу художник.

– Я вас слушаю? Вы принимали лекарство?

– Да, но теперь у меня болит в боку.

– Где, здесь? Сильно болит?

– Не очень.

– Таблетки больше не пейте и сделайте ещё раз анализ крови. Спиртное часто употребляете?

– Доктор, что значит часто?

– Ну, каждый день или через день?

– Допустим, раз в неделю – это часто?

– Смотря с чьей печенью. У вас пониженный гемоглобин, поэтому печень надо поберечь.

Доктор был лет тридцати, маленького роста, под халатом засаленный воротник свитера.

- Что тебе сказали?
- Опять анализ крови надо сделать.
- Так сделай обязательно. Кто принимал, Давыденко? Маленький такой?

– Да. Почему их стали называть семейными врачами? Я так понимаю, что семейный врач должен быть вхож в семью, бывать у нас дома, знать всех домочадцев, их болезни, характеры, но, по сути, ничего не изменилось. Как и раньше, все сидят под его кабинетом в очереди, и он понятия не имеет кто такой Сидоров, Петров. Года через три запомнит какую-нибудь бабку, которая надоест ему своей глухотой. И только он её запомнит, как она помрёт. И по-прежнему пишут, пишут на листочках. У нас перестанут когда-нибудь писать? Врачи пишут, учителя пишут, полиция пишет, в судах пишут, в отделе культуры пишут. Откуда столько бумаги в стране, где это потом всё хранится? Он три минуты меня слушал и потом десять минут писал, причём таким почерком, что кроме него там никто ни черта не разберёт. Кругом наставили компьютеров и всё равно пишут. Семейный врач, семейный психолог, семейный дантист, личный адвокат... Они воображают, что вся страна состоит из эстрадных звёзд и футболистов, что у всех есть средства их оплачивать. Со свиным рылом да в калачный ряд. Не морочили бы людям голову.

- Что толку, что ты тут по возмущаешься?
- Я не возмущаюсь, я брюзжу. Возмущаются люди деятельные.
- Он тебе не сказал, чтобы ты не пил?
- Брось, это банально.

– У Марины появился молодой человек.

– Откуда вы всё знаете?

– Он приходил с нею сюда. Такой высокий, худощавый и выглядит моложе неё. Она вся аж сияет, даже голос изменился. Щебечет, как весенняя птичка.

– Насколько я знаю, у неё серьёзные запросы. Во всяком случае, он точно должен уметь точить ножницы и вкручивать лампочки.

– Какие запросы? О чём вы говорите? Ей уже кажется слегка за сорок. Хотя бы какого-нибудь дурачка подцепить.

– Ну, вы, девки, злые.

– Нисколько я, Николай Петрович, не злая. Я даже рада за неё. И вообще, считаю, что большинство женщин несчастные из-за мужчин. Они несправедливы в своём выборе. Самые добрые, самые нежные, самые достойные для семейной жизни остаются одинокими. Мужчины близоруки и несправедливы. Они падки на яркое и сладкое. Прилипают, как мухи к сахарному сиропу, и сами потом страдают. Боже, как легко вас заманить в ловушку.

– Да, но эта ловушка становится потом ловушкой для двоих. Допустим, поймали вы ослепшего от вашего блеска дурачка. Испытали удовлетворение от своей победы, а дальше... Победа коварная штука, её нельзя тянуть словно резину. Как всякая вершина, она заканчивается спуском. Ох, девчонки, чтобы ощутить это, не надо жить долго, всё становится очевидным уже через несколько месяцев. Вы это знаете, я уверен – знаете. Всё дело в том, как потом с этой победой жить, как остаться победителем на всю жизнь. И я вам скажу как, хотя сам никогда не был победителем. Нужно забыть, что ты победитель. Не делать вид, что забыл, а забыть искренне и навсегда. Победителей не любят – им мстят, поэтому никто не должен помнить, что вы победитель. Вы такие же, как он, как они, вы оба проиграли. Солидарность проигравших великое утешение и великая сила.

– Вы, Николай Петрович, философ.

– А что остаётся, как не трепать языком.

– К нам заходили две мамыши, интересовались изокружком.

– Посылайте их ко мне.

– Что это?

У новой был по-прежнему зелёный маникюр.

– Программа.

– Где вы её взяли?

– Мне и прежде доводилось заниматься преподаванием.

– Девяносто первый год? Она не слишком старая?

– Я сторонник классической школы.

– А вы с кем-нибудь советовались?

– Зачем?

– Всё-таки девяносто первый год... больше двадцати лет назад. За это время, я думаю, многое изменилось. Как бы нам не предъявили претензии.

– Собственно, в этой программе изложена методика Чистякова, а ей уже больше ста лет.

– Как?

– Я сам учился по этой программе.

– Ну, вы-то, может быть... Хорошо, оставьте, я посоветуюсь.

– Что нового на работе?

– Почти ничего.

– Если почти, то всё же что-то новое есть. Ваша кого-то выгнала?

– Нет.

– Значит, Наташа выгнала Сашку.

– Ну, это бы не имело к работе никакого отношения.

– Так что же? Неужели повысили зарплату?

– Нет. Марина нашла себе какого-то идиота.

– А это какое имеет отношение к работе?

– Самое прямое. Теперь она не будет приставать ко мне, чтобы я точил ей ножницы.

– Ты его видел?

– Кого?

– Этого идиота?

– Нет.

– Почему же ты решил, что он идиот?

– Может быть, и не идиот.

– Но ты так определённо сказал, что она нашла идиота.

– Ну, послушай, всякий мужчина отчасти идиот. Разве ты думаешь иначе?

– Конечно. Я допускаю, что вполне возможно, где-то существуют нормальные мужчины, где-нибудь на Мадагаскаре, в джунглях.

– Да, я знаю, они называются шимпанзе. Нет, этот наш, Курдюмовский. Во всяком случае, мне так сказали.

– Кажется, у меня сегодня давление. Измерь мне, пожалуйста.

– Наша директор подозревает, что программа Чистякова устарела... Девяносто на сто шестьдесят. Ты ничего не принимала?

– Ещё нет. Сейчас выпью. Что за программа?

– По изобразительному искусству. И ты знаешь, что я подумал? А вдруг она права? Существует же теперь квантовая физика, так, может быть, и традиционный рисунок уже не соответствует духу времени. Вполне возможно, что так и есть. Но обучаться всё равно надо с азов. Нельзя же, не научившись ходить, отправляться в путешествие.

– А ваша директор имеет представление о Чистякове?

– Нет, конечно, но у неё наверняка есть представление о бюрократии... Ты полежи, не вставай.

– Николай Петрович, может, нам сегодня выпить?

– Саша, один твой ровесник, врач, мне недавно сказал, что с этим делом нельзя частить. И, представь себе, я ему поверил. Саша, подожди. Что-то я сам себе не понравился. Как жирный пингвин, прячусь за утёс.

– Если нельзя, лучше не пить.

– Ты воображаешь – тебе можно? Саша, только много колбасы не бери.

– Я уже знаю.

– Кто сегодня торгует?

– Людка.

– Так вот, однажды я зашёл к приятелю, художнику... стали рыться в карманах, а денег мало. Я ему говорю: ну, что же, Витя, возьмём закуску и маленькую. А он мне отвечает: нет, Николай, купим большую, а покушаешь дома. Так что, я тебя уверяю, пить можно и без закуски. Он, чёрт, курил. Выпьет и закурит, а я выпью и кручу головой по сторонам без привычки. Полпачки спичек сжевал. Однажды, я тогда служил в армии, однополчанин привёз из отпуска банку спирта. Чтобы она не вызвала подозрений, дома он закрасил её вишнёвым компотом. Так на дне банки и плавали стаканы два вишен. Собрались мы вокруг банки, человек десять. Спирт кончился, и начали мы есть вишни. Тут нас всех и развезло. Один раз одеколон пил. Как сейчас помню название: «Океан». С тех пор я не душусь, ты мне хоть «Шанель» подавай. И женщин надушенных стороной обхожу. Ещё денатурат пробовал. Так хорошо проблевался.

– А травку не курили?

– Нет. Боялся. Думаю, может быть, теперь, на старости лет, попробовать? Всё равно уже не успею стать наркоманом, а хоть и стану, скоро помирать.

– Я курил. Ничего особенного. Мне больше нравится вот так посидеть за рюмашкой, поговорить с умным человеком.

– Ум, Саша, понятие растяжимое. Есть житейский ум, есть аналитический ум, хитрость тоже без ума не бывает, а бывает образованность. Вот я, Саша, образованность больше всего уважаю, потому что за образованностью стоит труд. А смекалка, она от рождения может быть. В ней заслуги человека – никакой. Вот я о художнике говорил, Вите, с которым мы пили без закуски. Ну, это он для меня Витя – ему уже за семьдесят. Так вот он чертовски смекалистый мужик и цветовик великолепный. С первого раза берёт цвет, никогда не переписывает. А интеллекта нет. На ходу всё хватает и рассуждает остроумно, а чувствуется в голове чернота, неосвоенные пространства, невозделанная почва. Всю жизнь стремился к сиюминутному успеху, к похвале, деньгам. Если бы ты знал, как он любит, когда его хвалят. Прямо до какого-то безобразия, неприличия. У него даже лицо от похвалы меняется, уши начинают двигаться, как у обезьяны, губы складываются в трубочку, того и гляди сейчас кинется расцеловывать тебя. Такое впечатление, что в этот момент его мозги отключаются полностью, и он превращается в кота, которого чешут за ухом. Но я же знаю, сколько он может проявить сообразительности, чтобы выбить себе мастерскую, чтобы не платить за свет, ну и всё в этом роде. Так что ум уму рознь. Я подозреваю, что и Гитлер был неглупый, иначе как объяснить его влияние на такую массу людей. Выходит, ум лишь орудие, прикладной механизм, а вот кто этот механизм направляет, для меня загадка. Во всяком случае, не сам человек, это точно. А ещё, Саша, бывает зрелость ума и незрелость. Обычно незрелость принимают за глупость, но это не так. Я до сих пор чувствую незрелость своего ума. Не приходят в голову важные глубокие мысли. Легко можно умереть, так и не созрев ни для какого серьёзного дела. А бывают такие, как Пушкин. Читаешь и не можешь понять, как он успел в свои годы это познать, что побудило его думать о таких сложных вещах и откуда удивительная верность суждений, откуда такой колоссальный опыт, почему у меня, прожившего вдвое дольше, его нет. Но и скороспелость вещь нехорошая. Сколько примеров, когда всё лучшее человек сделал годам к двадцати пяти. Представляешь? Тебе только двадцать пять, а вся последующая жизнь уже не имеет значения. Возьмём, к

примеру, Серова. Ему было то ли двадцать два, то ли двадцать четыре, не помню, когда он написал «Девочку с персиками». Потом он много чего написал и хорошо, но не будь девочки с персиками, мы бы знали его совсем в другом качестве. Может быть, он даже затерялся бы, где-нибудь во втором ряду. Одним словом, Саша, чёрт его знает, как всё сложно.

– А вы? Как вы, как думаете, написали свою лучшую картину или ещё нет?

– Саша... – Николай Петрович жевал медленно, нехотя, как бы от скуки. – Ты слышал имена, которые я произносил? Что ты, в самом деле? К чему тут говорить обо мне? Написал я, не написал, имеет значение только для меня. Но, по большому счёту, это уже неважно даже для меня. Что бы я сейчас ни сделал, ничто не изменит мою судьбу. В этом есть положительный момент. Я становлюсь свободным. Это же нирвана, Саша, как мне раньше не приходило в голову. Молодец, что ты задал мне этот вопрос.

– Ты думаешь, ваша не знает, что вы пьёте на работе? Даже если она сама не видела, ей уже наверняка доложили.

– Ну и что?

– Конечно, ты решил, что тебе незачем работать. Тогда да, можно пить.

– Как ты себя чувствуешь?

– Плохо. Как я могу себя чувствовать?

– Сама себя накручиваешь, психуешь... Какого чёрта?

– А ты не вынуждай меня психовать.

– Для этого я должен исчезнуть, потому что я в любом виде тебя раздражаю.

– Ты всю жизнь мечтаешь исчезнуть.

– Хватит, мы об этом уже сто раз говорили.

– Николай Петрович, Олин Рома на mine подорвался. Вчера. Она поехала к нему в госпиталь.

– Живой?

– Кажется, но никто подробно ещё ничего не знает. Оле домой, уже после работы позвонили, а она позвонила мне. Я еле разобрала, что она говорит... буквально минуту, ой, ой, Рома в госпитале... я еду к нему... И сейчас звонить ей как-то неудобно... неизвестно, что там, попадёшь в неподходящий момент. Решили подождать.

Николай Петрович ходил по мастерской и даже не замечал этого.

– Николай Петрович, вы слышали?

– Да, Саша, слышал.

– Скажите, после подрыва на mine можно остаться живым?

– Откуда я знаю. Я, Саша, цивилизный человек.

– Вы же служили в армии.

– Я служил в мирное время. Всё, что я видел – это как одному мальчишке оторвало пальцы запалом от гранаты.

– Какому мальчишке?

– Такому же солдатику, как и я. Чёрт его знает, что он с ним делал, ковырял гвоздём, что ли? А ещё раньше, в детстве, кажется во втором классе, трое моих одноклассников нашли мину ещё с войны... так все трое насмерть. Тогда много чего можно было найти: и штыки, и ленты от пулемётов, и каски, а стреляных гильз мы приносили в школу целые карманы. Надо было только знать, где шли бои, где была какая-нибудь линия обороны, наша или немецкая. У нас там речка была с высоким меловым берегом. Вот на склонах мы всё и находили. Повезло, что не мне попала мина. Я вот подумал, чем больше времени проходит от той войны, тем искажённое представление о ней, о её масштабах. Я рос, когда после войны прошло уже лет пятнадцать, а сколько ещё примет оставалось от неё. Но главной приметой, конечно, были люди, пережившие её, прошедшие через неё. У моего друга отец был капитаном корабля. В их шифоньере висел

парадный мундир с орденами. В карманах была насыпана махорка от моли, потому что он был из чистой шерсти, но я представлял себе, что мундир пропах табаком от капитанской трубки. Ох и пил же этот капитан... Да они все пили. И мой отец пил. К восьмидесятым годам их, ветеранов, уже практически не осталось. Что разве всякие тыловики. Потом пошли ветераны вооружённых сил с юбилейными побрякушками, солдафоны, которые рулят конфликтами. Как я не терплю солдафонов. Солдафон и художник, Саша, – это как кошка и собака. Это два разных способа жизни, две разные философии, два разных мироощущения. Я солдафонов, как Шариков, нутром чую, отличаю по форме скул, толщине шеи, походке, кривизне ног.

– У вас же сын в армии служит.

– Ты, Саша, не понял: солдат и солдафон – это разные вещи. Солдат – это обстоятельства, а солдафон – каста. Для меня это каста неприкасаемых. Причём солдафонами могут быть не только военные, но и сантехники, учителя, депутаты и даже мэры городов, как наш.

– Пойду, узнаю, может быть, есть какие новости.

– Да, Саша, потом зайдёшь, расскажешь.

– Я тебе рассказывал, что у нашей Ольки муж прошёл курсы разминирования? Так вот, подорвался.

Нож соскользнул с луковицы и громко ударил лезвием по доске.

– Где, когда? О, господи. Живой?

– Ещё живой.

– Тяжёлый? Что-нибудь оторвало?

– Ничего не могу сказать. Девчонки говорят, Ольга как ненормальная. Твердит одно и то же: без сознания, без сознания...

– Набери мне Сергея, я хочу с ним поговорить. Серёжа, здравствуй. Как твои дела? Почему вдруг, разве я никогда не интересовалась? Нет, у нас ничего не случилось. Просто захотелось услышать твой голос. Так у тебя всё нормально? Когда ты теперь сможешь приехать к нам? Понятно. Папа? Дома. Дать ему телефон? Хорошо, передаю привет. Слышишь, отец, тебе привет от сына.

– Слышу. Когда приедет?

– Скоро.

– Рому отправили в Днепропетровск. Ольга взяла отпуск, поехала к нему.

– Что она рассказывала, как это всё произошло?

– Они приехали в посёлок, а их обстреляли с той стороны.

– А как же ОБСЕ? Должна же была быть какая-то договорённость?

– Николай Петрович, представляете, какой ужас. Оля говорит, мчусь, а сама представляю, что он без ног, чуть в автобусе сознание не потеряла. Она же думала, он на mine подорвался, ногами на неё наступил. Приехала в госпиталь, а ребят двоих привезли. Какой ваш, спрашивают. Думаю, назову сейчас фамилию, а мне скажут: этот умер. Трусил её, как в лихорадке. Говорит, покажите мне его. Он в операционной. Не переживайте, всё цело, сейчас железо выковыряем из него. Но один осколок далеко ушёл, лёгкое пробил, поэтому его и отправили в Днепр.

– Она как чувствовала, что это опасно.

– Что тут чувствовать, дураку было ясно, но как только Ромка стал деньги приносить, она успокоилась. Я заметила это.

– Ничего не успокоилась. Я же тоже видела.

– Когда это кончится?

– Николай Петрович, что вы думаете? Это кончится когда-нибудь? Что ваш сын рассказывает?

– Ты так спрашиваешь, как будто он генерал. Да я думаю, и генералы не знают. Лично я в перемирия и договорённости не верю. По-настоящему и надолго война может закончиться только победой одной из сторон.

– Так вы предлагаете воевать?

– «Кац предлагает сдаться». Девчонки, какое это варварство, что мы с вами говорим о войне, о легальной возможности убивать людей. Причём, обратите внимание, убивать не ради того, чтобы выжить, а лишь потому, что те люди хотят по-другому жить, говорить на другом языке. Вот за это их можно легально, не подвергаясь уголовному наказанию, убивать. И находится огромное количество людей, которым нравится убивать, и им даже всё равно, за что убивать. Мне кажется, человеческая порода никуда не годится. Этот проект надо сворачивать. Кстати, есть вполне гуманный способ это сделать. Я предлагаю Богу лишить человечество возможности размножаться. Все мы, ныне живущие, останемся, до определённого срока, живы и невредимы, но через сто десять лет человечество мирно исчезнет. Представляете, миллиарды людей, и проходит всего каких-то сто десять лет – и не единой души. Без массовой гибели, без катаклизмов, без страданий и насилия. По улицам городов ходят лоси и дикие кабаны. Косули пасутся на хлебных полях, по асфальтовым дорогам бегают стаи волков, а людей нет и не нужно. Зачем? Чтобы они придумывали, как убить друг друга, лишь потому, что в них опять будет этот ген – убивать?

– Так вы, Николай Петрович, пацифист?

– Странно им не быть. Вообще, интересно было бы взглянуть на землю без людей. Представляете, нет никакой России, Китая, Польши, нет границ, в лесах развелись медведи, по кофейным полям ходят стада слонов, на чердаках полу разрушившихся домов поселились рыси, над городами кружат беркуты, а сколько разведётся рыбы. Все домашние животные, мне кажется, исчезнут вместе с людьми, потому что они будут слишком лёгкой добычей для хищников. Львы, тигры задерут всех коров и домашних свиней. Отары овец будут кормить расплодившихся волков. Жизнь без человека будет похожа на рай. Некому будет вырубать леса, ковырять землю, появятся новые виды животных, потому что их некому будет истреблять в таких количествах, как это делал человек. Никто не отнимет их среду обитания. Я вообще не понимаю, на кой чёрт понадобился человек? Кому это было нужно? Мы же стали перпендикулярно ко всему остальному миру. Посмотрите на нашу архитектуру. Она не имеет ничего общего с окружающим ландшафтом. Где вы видели в природе прямые линии или прямые углы? А эти наши потребности, чтобы ночью было светло, зимою тепло, летом прохладно, в дождь сухо, в засуху мокро и всегда сытно. Но и этого мало. Мы хотим всё и всех подчинить себе. Вот в чём самый главный яд, отравляющий всё вокруг и нас самих.

– Николай Петрович, извините, что я вас перебью, вы мне журнал сдавали на проверку?

– Нет, Надюш, я ещё не заполнил.

– Так что же вы? С меня директор требует.

– Ты знаешь, кого я встретила?

Таня выкладывала из сумки на кухонный стол хлеб и прочее.

– Кого?

– Полину. Прошло полгода, как умер муж. Представляешь? Уже полгода. Начала оформлять наследство, и что ты думаешь? Выясняется, что у него есть внебрачный сын, который претендует на квартиру.

– У Витьки?

– Да, да, у Витьки...

– Не зря говорят о скелетах в шкафах.

– У нас там, случайно, ничего нет?

– Ну, что ты. Ты даже моль оттуда вывела.

– Смотри мне.

– Николай Петрович, как моя Маша, у неё что-нибудь получается?

– Конечно.

– Стоит ей этим заниматься?

– Почему же нет? Пусть рисует.

– Как вы думаете, у неё есть способности?

– Есть.

– А у Киры?

– И Кира способная. Замечательные девочки.

– Саша, эти мамы настоящий кошмар.

– Ты поешь сегодня сам.

– Опять давление?

– Кажется.

– Сколько, ты измеряла?

– Не измеряла, я так чувствую.

– Может быть, вызвать скорую?

– Подожди ещё.

– Что, ждать пока наступит ночь?

– Может быть, пройдёт. Я таблетки выпила. Так ещё хочется пожить.

– Что за разговоры – поживём, хотя я для себя не вижу особого смысла.

– Дурак.

– Ну, что скажите?

Врач со скорой была ещё почти девчонка.

– Мы сделали укол. Пусть не встанёт часа два. С нею часто такое бывает?

– Последнее время, к сожалению, часто. Я уже не знаю, что с нею делать.

– Любить.

– Николай Петрович, мы с девчонками определились, хотим поставить «За двумя зайцами». Как вы на это смотрите? У нас девочка одна есть очень способная, я думаю, у неё получится роль Прони. С Голохвастовым сложнее, но тоже есть мальчик... его можно подтянуть, а декорации... ну, боже мой, неужели мы не сможем сделать выгородку.

Татьяна Викторовна раздувала ноздри, и из них вырывался запах паршивого табака.

– Выгородку? Надо подумать.

– Подумайте.

– Татьяна Викторовна говорила вам насчёт спектакля? Вы поможете ей? Подумайте вместе, что нужно. Да, я хотела поговорить с вами о журнале. Почему вы не пишете в журнал, чем вы занимаетесь на уроке? Придут с проверкой...

– Кто придёт?

– С отдела культуры.

– Кто? Степановна? Ну и что она в этом соображает?

– Николай Петрович, ну какая вам разница, соображает она или нет? Посмотрит в журнал, а там чистые листы. Я буду виновата. Скажет, что я не проверяю журналы. Ну, я вас очень прошу, заполните здесь и здесь. Напишите, что вы с детьми рисуете, как рисуете. Вот, двадцать второе число, три часа занятий, напишите, что вы делали на первом часе, на втором, на третьем... Не нервничайте.

– Я, Надя, не нервничаю, я просто не понимаю, кому это нужно, зачем?

– Николай Петрович, вы поймите, это бюджетные деньги. Если здесь ничего не написано, значит, вы ничего не делали.

– Я так и знал, что с этим кружком будет одно наказание.

– Слушай, Сань, они меня достали с этим журналом.

Николай Петрович бросил на журнал ручку.

– Так, может, выпьем?

– Нет, Саш. У жены давление. Приду домой с запахом, она распихуется.

– Что, высокое давление?

– Вчера скорую пришлось вызывать. Приехала такая молоденькая медсестра. Думаю, что б ты понимала, а она мне говорит: вы любите жену, и всё пройдёт. Я просто опешил. Думаю, может быть, в самом деле всё от этого? Или просто девчонка ляпнула языком, решила пококетничать. Откуда ей, соплячке, знать про любовь. А забыть её слова не могу. Так я, Саша, за всю жизнь, ни разу матом на жену не заругался, но любим ли мы друг друга – большой, большой вопрос.

– По-моему, в вашем возрасте, после стольких лет жизни не должно быть никаких вопросов. Это у нас с Наташкой ещё не ясно, ещё можно сомневаться, но я тоже никогда её не бил, хотя, честно скажу, иногда хотелось... Бабы иной раз умеют достать. Вот, хотя бы, на той неделе пристала: давай купим плоский телевизор на стенку. Откладывали, откладывали на чёрный день, и теперь взять и потратить на безделушку. Я ей объяснял, что мы не для того собирали, что деньги могут пригодиться, что всегда надо иметь запас. Разве я, Николай Петрович, не прав? Мне, может быть, самому хочется какую-нибудь хрень, но мы же взрослые люди. Нет, обиделась. Говорит: так жизнь пройдёт, и будут лежать эти проклятые деньги... С одной стороны, она тоже, как бы, права. Пока молодые, хочется и того и другого, пока есть интерес, но и остаться с голой жопой не хочется. У вас такое было?

– Наверное, было бы лучше, если бы было. У нас как-то не возникало разногласий. Мне кажется, мы понимали, что можно обсуждать, а что не имеет смысла. Поэтому каждый из нас отказывался от спорной затеи ещё на этапе её возникновения. Может быть, в первый год или два мы ещё натыкались друг в друга на что-то непредвиденное, но потом с каждым годом невозможное становилось всё очевиднее. Это как стена, которую видишь издали. Видишь, всё понимаешь, и от этого как-то скучно было всю жизнь, даже тоскливо. Надо было хотя бы раз, как ты, загулять до утра, или чтобы она врезала мне пощёчину. Может быть, жизнь ощущалась бы полнее. Что очевидно, что прожили без страсти. Может ли быть любовь без страсти, а, Саша?

– Ну, если вы не знаете...

– Таня, знаешь, что мне сегодня сказали?

– Что?

– Потапов умер.

– Что ты говоришь? Когда?

– Уже сорок дней отметили.

– Надо же.

– Вот так. И живём, кажется, рядом. А я его как-то видел в начале осени. Он с собакой в сквере гулял. Мы ещё перебросились парой слов. Я сейчас вспоминаю так ясно ту встречу. Прямо вижу его лицо. Вот, говорит, сегодня моя очередь с собакой гулять. Как только на улице дождь или ещё что, так обязательно моя очередь.

– По-моему, в сентябре ни одного дождя не было.

– Да нет, моросил небольшой, когда мы встретились. И вот, скажи, если бы знать, что видишь человека в последний раз... если бы знать, какой могла бы быть та встреча... Тань, а что если знать, что вот этот человек через месяц умрёт. Жил, жил рядом,

встречались, говорили... и вот через месяц он умрёт, и ты видишь его в последний раз, в самый последний. Как бы ты поступила?

– Не знаю. Может быть, так, как обычно. Не начнёшь же прощаться? Перестань. Заговорил чёрт знает о чём. Умер и умер. Не знаешь от чего?

– Говорят, букет. Он чуть старше меня, лет семьдесят, я думаю, было.

– Всё равно рано.

– Рановато. И всё же, мне кажется, я что-то такое чувствовал тогда. Так он мне ясно запомнился. Улыбка жалкая и глаза грустные. Помнишь, они у него такие светлые были, водянистые.

– Как у всех алкашей. Что ты там чувствовал, это тебе теперь так кажется.

– Да, странно. И всё же, если знать, ну не станешь же ты говорить о собаке или дожде? Наверно, захочется сказать что-то важное... навсегда.

– Близкие люди не умеют расстаться, даже если знают...

– Мне кажется, всё дело в том, что тот, кто остаётся здесь, чувствует себя победителем, и ему всё равно, что там происходит с побеждённым. Он сошёл с дистанции. Во время великой депрессии устраивали танцы на выживание. Я видел в кино. Как ты думаешь – это похоже?

– Нет. А в общем, я об этом не думала и не думаю, и тебе не советую.

– Ну почему же? Это очень любопытно.

– Если думать больше не о чем.

– Николай Петрович, вы журнал худруку сдали?

– Да.

– Почему я его не видела? А ты, Саша... я же просила подготовить микрофоны, чтобы не было, как прошлый раз.

– Я подготовил.

– Ладно. Не сидите без дела. Неужели вам нечем заняться?

– Сейчас займёмся.

Директор провела взглядом по картинам и вышла.

– Пришла проверить, думала, мы здесь бухаем.

– Стыдно признаться, Саша, но я боюсь начальников. Пойми правильно, боюсь неосознанно, как грозы или темноты. Чёрт его знает, что это такое. Наверно, какой-то генетический, врождённый страх, оставшийся от крепостного права. Могу нах послать, а боюсь. Трепет. Вот она зашла, и как будто я уже что-то ей должен или виноват перед нею. Я их за это ненавижу. Вот, она ничего мне не сделала и, может быть, не сделает, но я чувствую к ней враждебность. Она мой враг, Саша. О какой плодотворной работе может идти речь! Естественно, я понимаю, что это глупо, я перешагиваю через это, но я никогда этого не забываю. Не забываю и не прощаю. Она думает, что может безнаказанно стать моим начальником... Фигу. Она за это поплатится.

– Как?

– Ещё не знаю.

– Там Рома Олькин пришёл, не хотите увидеть?

– Сильно изменился?

– Да нет, я бы не сказал. Хромает немного.

– Неудобно идти смотреть – зверь, что ли, какой.

– Я сам случайно в фойе столкнулся.

– Николай Петрович... и Саша у вас, как хорошо. Не хотите с нами отметить Ромино выздоровление?

Черноволосый и тёмноглазый Рома был похож на цыгана, но, может быть, и был цыганом, не вполне чистокровным.

– Сиди, сиди... С поправкой...

– Всё хорошо, что хорошо кончается.

– Да, могло быть хуже.

– В жизни без везения нельзя. Вот так живёшь и не знаешь, сколько раз тебе в жизни повезло, сколько раз случайность была на твоей стороне, но если жив, то везло непременно. Мне иногда приходит в голову, что если бы тогда-то и тогда-то я пошёл бы не той улицей? Выходишь из дома в магазин и принимаешь решение, каким маршрутом идти: через дворы, через сквер, по одной улице или по другой... А где-то, может быть, уже навис кирпич, или бродит бешеная собака, или едет машина, у которой вот-вот оторвётся колесо... И что-то тебя ведёт мимо этих неприятностей.

– А другой сам ищет неприятности. Это я, Рома, не про тебя.

– Рома, расскажи, как было дело, а то всё с чужих слов.

– Так и рассказать нечего. Я сам ничего не видел и не понял. Стояли, разговаривали, вдруг, словно кто-то землю из-под ног выдернул. Говорят, разорвалась восьмидесяти двух миллиметровая мина. Мне весь левый бок осколками напиговало. Вот... хирурги на память подарили...

Кусок железа величиною с пятак, словно спрессованный из бритвенных лезвий с рваными острыми краями, с синеватым блеском.

– Какие люди изверги – надо же придумывать разные такие штуки, чтобы убивать.

– Причём никто толком не знает, в кого попадёт такой кусок, вот что ужасно.

– Всё, что связано с войной, ужасно.

– Да вся наша жизнь ужасна.

– Нет, девочки, это уж слишком пессимистично. Скажите, Рома, у вас поменялось отношение к жизни?

– Какая бы ни была жизнь, а жить хочется.

– Конечно. Об этом даже нечего спорить.

– Особенно вам, молодым.

– Ромка Олькин приходил сегодня.

– Выписали?

– Да, ещё неделю назад.

– Ты его видел, он что-нибудь рассказывал?

– Что он мог рассказывать? Приехали в Зайцево, стояли возле школы, прилетела мина. Хорошо, что никого не убило.

– Вот вам и перемирие.

– Да, перемирие. Кто кого обдурит.

– Саша, мы, в общем, живём неосознанно, как животные. Попытки праздных людей осмыслить жизнь пока ни к чему не привели. Пока существует одна бесспорная истина – надо выжить. Если ты родился, надо выжить и прожить как можно дольше. Это объединяет всё живое. Дальше пошли варианты.

– Меня что пугает – чувствую какую-то лень. Наташка, ну и Наташка. Кажется, мы родились вместе, и потому и живём вместе, и нам друг от друга ничего и надо, как только быть вместе. Мне даже лень встать с дивана ей чай принести или ещё чего. Говорят, из-за любви человеку хочется жертвовать собой, а я не могу пожертвовать своим покоем, чтобы с дивана встать.

– Саша, это нормально.

– Да? Как-то любовь должна проявляться в повседневной жизни?

– Не морочь голову. Сейчас зайдёт новая, скажет, вам опять делать нечего. Кстати, ты не знаешь, кто её муж?

– Предприниматель. Но что-то такое мелкое, кажется, по строительству.

Раздался звонок. В дверях Сергей, высокий, худой, в камуфляже и армейских берцах.

- Серёжечка, здравствуй. Разувайся.
- Можно я не буду.
- Почему. Пусть ноги отдохнут.
- Вы задохнётесь от запаха моих носков.
- Подумаешь... снимай, снимай свои ботинки. Отец, Серёжа приехал. Ты надолго?
- Часа на два. Ребята пошли в банк карточки менять, а я решил к вам зайти. Как вы

тут?

- Что мы? Ты как?
- Нормально.
- Не стреляют?
- Иногда.
- Голодный? Покушаешь? Я сейчас борщ подогрею.
- Ну как ты всё же, расскажи?
- Да нормально, что рассказывать. Осень – она и есть осень.
- Я представляю, сыро, грязно, холодно.
- Думаю, не представляете, но ничего, жить можно.
- А мы слушаем новости, интернет читаем, хочется знать, понимать, что там

происходит.

– Это вы зря, там всё равно правду не расскажут. На войне правду только солдат знает, но ему меньше всего и верят. Думают, что он может знать? Вот генералы или журналисты – те знают.

- Так и расскажи нам...
- Нечего пока рассказывать... надоело всё.

– Вчера Сергей заезжал в гости.

– Что рассказывал?

– Ничего особенного. Надоела, говорит, неопределённость. Уж лучше долбануть по ним, а там будь что будет.

– Николай Петрович, давайте подумаем с вами, как оформить фойе.

Маникюр в этот раз был оранжевого цвета.

– Фойе у нас какое-то скучное, безликое. Я бы хотела, чтобы оформление соответствовало временам года. Чтобы осенью это были осенние мотивы, чтобы зимой всё у нас напоминало зиму. Летом можно украсить фойе цветами. Как вы на это смотрите? Давайте с вами поищем в интернете подходящие варианты.

– Это обязательно искать в интернете?

– Если вы можете предложить своё, пожалуйста, но, я думаю, проще поискать в интернете. Я же не требую эксклюзива. Что вы так на меня смотрите?

– Нет, ничего.

– Я не прошу, кажется, невозможного. Тем более, я заметила, у вас достаточно свободного времени.

– Я же сказал: всё нормально.

– Но у меня впечатление, что вы чем-то всегда недовольны.

– Вам так кажется.

– Саша, хочешь посмотреть детские работы? Пойдём, покажу. Эта девочка твоя тёзка – тоже Саша. Редко встретишь сейчас у девочки такое имя.

– Сколько ей?

– Шесть. Правда, хорошо? Ах, если бы она понимала, что делает, а то ведь через три года это ей уже будет недоступно, и я ничего не смогу поделать. Абсолютно ничего. Я

тебе говорил, что искусство космического происхождения? Это какое-то межгалактическое излучение. В одном состоянии мозг на него реагирует, в другом нет. Детский мозг менее защищён от этого излучения, вот и получают такие работы.

– Николай Петрович, но многие скажут, что тут хорошего?

– Да, скажут, те, у кого черепная коробка из свинца. Туда никакое излучение не проникает.

– Таня, мне почему-то жалко нашего Серёжку. Если бы мы отнесли к Галке немного по-другому, они бы не разбежались.

– А как ты мог отнестись к ней по-другому? Кажется, и так молчали.

– Но он понимал, что она нам не нравится. Остался хлопец без семьи, без дома.

– Хотел бы, жил со своей Галкой.

– Если честно, я ему удивляюсь. Нашёл бы себе уже какую-нибудь. Столько баб вокруг.

– Я не пойму, к чему ты завёл этот разговор?

– Да так, посмотрел на него прошлый раз, и мне показалось, что он хорохорится, как тот воробей, а на самом деле ему не очень.

– Посиди ты в окопе, в грязи, сырости да ещё когда по тебе стреляют.

– Понятно. Так он ведь и попал туда, потому что здесь не за что зацепиться. Мы для него ломоть отрезанный. Я вообще посмотрю на нынешнюю молодёжь, она вся такая неприкаянная: сходятся, расходятся, не расписываются, дети по бабкам, родители на заработках. Съедутся, проживут и опять разъедутся. Не страна, а проходной двор.

– Ты сам рассказывал, сколько раз вы переезжали с семьёй.

– Так мы переезжали, потому что батя бухал. Когда его уже нигде не брали на работу, мы срывались на новое место, где его ещё не знали. Впрочем, ты права, это давно началось. Половина населения в общежитиях жила. «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Это мы с тобой домоседы.

– А куда и зачем бы мы поехали? Там хорошо, где нас нет.

– Послушай, а мы всё-таки родственные души. Вспомни, никогда не ссорились по существу. Только раз, кажется, ты не согласилась переехать в Мариуполь, когда меня туда приглашали на работу. Я даже догадываюсь почему. Ты не хотела, чтобы я работал в театре, потому что в нём коварные соблазнительные актрисы.

– Ой, ой, нужен бы ты был актрисам. Я не хотела, чтобы у меня в доме всё лето толклись родственники. Забыл, как тётка Верка со всем своим выводком постоянно ездила на море в Бердянск отдыхать. А так она бы жила у нас.

– Боже мой, какая дальновидность, а то что я не стал театральным художником – это ничего.

– Ну, конечно, это я виновата, что ты кем-то не стал. Я это слышу всю жизнь.

– Ну, вот, началось...

– Что началось? Разве не я у тебя во всём виновата?

– Когда я такое говорил?

– Да только что ты сказал, что из-за меня не стал театральным художником.

– Неужели ты думаешь, что я не понимаю, почему я им не стал? Если бы я не понимал! Причём тут ты. Если бы я очень хотел, если бы я верил в себя, ты бы меня не остановила. Но я всё время боялся потерять синицу в руках. Я дорожил тем, что каждый вечер могу вернуться в свой дом, что ночь не застанет меня на улице среди чужих людей. Если бы ты знала, как меня пугали чужие города. Солнце клонится за дома, наступают сумерки, загораются огни, люди в своих квартирах, в этих тёплых светлых сотах, а твоего здесь ничего нет, и ты остаёшься на улице один. Людей всё меньше, ночь всё темнее... А потом меня пугала ответственность. Я не хотел зависеть от ответственности, когда от тебя чего-то ждут.

– Как же ты вообще работал и работаешь?

– О-о, то чем я занимался и занимаюсь, не стоит и выеденного яйца. Конечно, сначала и эта работа меня напрягала, но потом я понял, что лучше работы не найти. Людям может не нравится то, что я делаю, но, по большому счёту оно им пофиг, ничего в их жизни не меняет и никак на жизни не отражается. Что ещё нужно для покоя и умиротворённости, и разве покой и умиротворённость плохая синица, разве не досадно будет их потерять? В этом смысле на твоём месте мог быть кто угодно, и это ничего бы в моей жизни не изменило. Я бы остался тем, кем я есть. Ме-ща-ни-ном. О-бы-ва-те-лем.

– А ты кем хотел быть, буреизвестником?

Николай Петрович с недоумением посмотрел на жену и, вдруг так громко и грубо рассмеялся, что в свою очередь на него с недоумением посмотрела жена.

– Николай Петрович, надо написать афишу. Вот текст. Девочка будет вести у нас аэробiku.

– Оля, положи, пожалуйста, на стол. Как ваши дела, как Рома? Назад в сапёры не собирается?

– Что вы. Кто его теперь пустит. Хочет купить подержанную машину и начать таксовать. О, господи, что только он у меня не пробовал. Характер, гордый очень. Не может потерпеть, попросить, как другие. Николай Петрович, желательно завтра афишу повесить. Вы же знаете, мы теперь должны зарабатывать.

– Я это уже двадцать лет слышу. Ещё при Горбачёве началось... хозрасчёт и прочая хрень, а того не хотят понять, что культуры на голодный желудок не бывает. Если человек не ел, он любому Рихтеру предпочтёт котлету. Вульгарно, но что поделаешь.

– Разве в человеке нет потребности в культуре, как в еде?

– Ты сама знаешь, что нет. Не пытайся быть идеалисткой.

– Я не идеалистка, но если бы в человеке не было стремления к красоте, гармонии, культуры не существовало бы вовсе.

– Ладно, пусть будет так. Мне уже всё равно. Наш разговор полная бессмыслица.

– Почему?

– Потому что от нас ничего не зависит.

Николай Петрович чувствовал слабость и у него подрагивали руки.

– Николай Петрович, как моя тёзка? Выдаёт шедевры?

– Выдаёт.

– Может быть, у неё в самом деле талант?

– Знаешь, Саша, я чувствую себя преступником, аферистом, обманщиком. Родители думают, что я учу их детей рисовать, но я понятия не имею, как это делать. Что значит уметь рисовать? Многие современники считали, что Матисс не умеет рисовать. Я слышал, как одна мамаша наставляла ребёнка: пусть учитель научит тебя рисовать зайчика. Наверно, кто-то, в своё время, учил эту мамашу рисовать зайчика, и вот теперь она воображает, что можно уметь рисовать отдельно зайчика, медведя, дерево. И что я должен делать? Должен ли объяснять ребёнку, что не существует ни зайчика, ни дерева, а есть структурированное пространство и, если ты понимаешь структуру пространства, ты можешь изобразить всё.

– Вы даже для меня говорите какие-то непонятные вещи.

– Наша директор думает, что учить рисовать – это то же, что учить вышивать крестиком.

– Может быть, не надо так заморачиваться? Всё равно этого никто не поймёт.

– А если эти мысли составляют суть твоей жизни, если на это ушли годы. Как подумаешь: одни бухали, заводили любовниц, покупали машины, дачи, меняли мебель, жён, куда-то ездили, а ты как дурак сидел возле мольберта и ковырялся кисточкой в воображаемом пространстве. С тем же успехом можно было ковыряться в носу.

– Надо выяснить, почему у вас такой низкий гемоглобин.

– Вы знаете, у моей матери был низкий гемоглобин. Может быть, это наследственное?

– Женщины чаще сталкиваются с этой проблемой. Давайте начнём с печени, проверим её.

– Как стало рано темнеть. Ужас. Четыре часа, и уже ночь. Слава богу, Серёжину часть выводят с передовой. Услышал бог мои молитвы.

– Да, теперь получать будет меньше.

– Чёрт с ними, с их деньгами. Я сегодня с ним разговаривала по телефону, говорит, под Харьковом будут.

– К нам не заедет?

– Постарается. Что тебе врач сказал?

– Что он мог сказать? Ни черта они сами не знают. Особенно нынешние врачи. Раньше хоть чему-то учились, а сейчас купят дипломы, а ты жди от них пользы.

– Ну почему, наш, мне кажется, ничего.

– Ничего. Опять кучу анализов назначил.

– Я куме нашей не перестаю удивляться. Здоровая была, жить и жить, а она в петлю полезла.

– Чокнутая. Я тебе всегда говорил, что у неё не все дома. От неё потому и Юрка сбежал.

– А он, как ты думаешь, живой?

– Живой. Где-нибудь в России. Может быть, миллионер, представляешь. Мерседес и всё такое, а она... Я как вспомню морг, этот запах... и кота. Ты видела кота... там, на пороге? Они же его человеческими потрохами кормят. Как он посмотрел на меня, словно говорил: что, ещё ходишь? Ну, ну.

– Перестань, я тебя прошу.

– Николай Петрович, вы не знакомы ещё? Это Альбина, она у нас будет аэробикой заниматься.

– Здравствуйте. Я хотела вас попросить сделать несколько объявлений, я расклею по городу.

Стройная девушка держала руки перед грудью, скрестив пальцы. Азиатское лицо и чёрные гладкие блестящие волосы.

– Хорошо, оставьте мне текст.

– Саша, ты видел нашу новенькую?

– Видел. Классная чувиха.

– Не то слово, Саша. Знаешь, мусульмане отчасти правы, заставляя женщин скрывать свое тело за чёрными одеждами. Кстати, слова искушение и искусство, мне кажется, близки и по звучанию, и по смыслу. Ислам довольно последователен. Он не только запрещает показывать женское тело, но и изображать его. Хорошая картина, хорошая музыка так же искусительны, как хорошенькая женщина. Ну, конечно. Саша, я всегда чувствовал физическое наслаждение, рассматривая хорошие картины, а музыка иногда так пробирает, что даже вздрагиваешь. С тобой бывает такое?

– Да, кажется, бывает, когда хороший рок, Bon Jovi, к примеру, Led Zeppelin. Она к тому же, кажется, не замужем.

– Ну, это мне уж всё равно.

– Да мне, в общем, тоже.

– Да?

– Ну, а что? Разве мало хороших баб? За всеми не набегаешься. У меня Наташка тоже ничего.

- Девочки, знаете, что Маринин ухажёр сбежал от неё?
- Откуда ты знаешь?
- Вы не замечали, какая она? К тому же мне Ленка говорила, а они живут в одном подъезде. Да. Нет его уже, ушёл.
- Жалко Маринку, она такая счастливая была, помните?
- Да ну, какой-то сморчок прицепился. Чему там было радоваться?
- На безрыбье и рак рыба.
- Если бы она хотела удержать мужика, надо было худеть. У неё печенье в сумке не переводится.
- Подумаешь, добро великое, мужик.
- Оля, что у тебя с новогодним сценарием? Кого Дедом Морозом сделаем?
- Татьяна Викторовна говорит, есть у неё мальчик.
- Мальчик, мальчик... Вот бы Николая Петровича уговорить...
- Что вы, девочки, он, сколько тут работает, даже на утренниках никогда не бывает.
- А из новенькой нашей, Альбины, замечательная Снегурочка выйдет. Так что всё-таки со сценарием?
- Надя, надо вместе сесть, подумать. Какой у тебя замечательный кулон. Я раньше не видела.
- Это мне Ярик подарил.
- Давно?
- Да ещё когда с Москвы приехал. Я, кажется, его уже надевала.
- Первый раз вижу.
- Девчата говорят, от костюмерши её бойфренд ушёл.
- Да? Что ему, козлу, не хватало, симпатичная женщина.
- Мне кажется, она еврейка.
- Ну и что?
- Ничего. Я сам не понимаю, откуда этот сегодняшний антисемитизм. Ведь всё началось с религии. Для истинных верующих христиан евреи предали их бога, позволили распять Иисуса Христа, не признав в нём сына божьего. Но какое дело атеистам до этой истории? Истинно верующих сейчас днём с огнём не найдёшь, но евреи, евреи нехорошие. Чушь какая-то. Инертность мышления. Причину никто не помнит, а следствие тянется и тянется. Но у верующих обида, видимо, была глубокая, иначе, как объяснить антисемитизм выдающихся людей.
- Кого ты имеешь в виду?
- О, господи, да хотя бы Гончаров. Совершенно мирный тихий русский писатель, но у него даже в мыслях не было скрывать своё отвращение к евреям. Он их просто называет жидами. Антисемитизм был элементом христианского воспитания. И вот, что странно, христианское воспитание зачахло, а антисемитизм остался.
- Но согласись, евреи сами отчасти виноваты. Они противопоставили себя всему миру, назвавшись избранными. Кому это понравится?
- Это касается религиозных евреев, а много ты их видела?
- Нет, они все так считают, просто боятся об этом говорить.
- Глядя на нашу Марину, это трудно себе представить. Мне её даже жалко. В жизни любого человека самое главное устроенность, когда он, как кирпичик, вставлен в стену. Неустроенного человека сразу видно, он либо агрессивен, кидается на всех, либо жалок, как бродячая собака. Повизгивает, и скулит, и ластится ко всем, и тут же от страха может укусить.
- Это ты кого описываешь?
- Обобщаю.

– Ты мастер обобщать.

– Саша, ты что-нибудь читаешь сейчас?

– А что сейчас можно читать? В школе Анну Каренину читал.

– Почему Анну Каренину?

– Не помню, проходили наверно или книжка случайно попалась.

– Ну и как, понравилась?

Саша пожал плечами.

– Она же морфинистка была, понятно, почему её под поезд понесло.

– Морфинистка?

– Ну да, а вы, что не читали?

– Да читал, только как-то не обратил внимания на это.

– Там написано, что она на ночь принимала морфий. Что тут удивительного, что крыша поехала. Сейчас наркоманы тоже то с окон падают, то под машины лезут.

– Вот уж не думал, что это главное в романе.

– Может и не главное, но, согласитесь, многое объясняет... Я вчера с Альбиной в кино ходил.

– С Альбиной?

– А что тут такого. Мы просто посмотрели фильм.

– Понятно, вы просто посмотрели фильм.

– Да. Просто посмотрели фильм, потом я её домой проводил, и всё.

– И всё, понятно. Наташке ты ничего не сказал?

– А что я должен был сказать?

– И она тебя не о чём не спрашивала?

– Спросила, почему так долго? Сказал, что репетировали. А что, Николай Петрович, мы не расписаны.

– Печень у вас в порядке. Как вы себя чувствуете? Ничего не болит? Прошлый раз вы, кажется, на боль в боку жаловались?

– Побаливает иногда, но в основном доктор, слабость, чертовская слабость, и руки дрожат.

– Конечно, будут дрожать, если слабость. Давайте проверим теперь щитовидку. Может быть, всё дело в ней. Вы к Чернобыльской аварии не имеете отношения?

– Вы хотите сказать, не я ли взорвал атомную станцию?

– Ну, вы же поняли, о чём я говорю: не были в Чернобыле?

– Слава богу, нет.

– Всё равно, надо проверить щитовидку.

Саша озвучивал новогодние утренники и в перерывах забегал к Николаю Петровичу выпить.

– Что там, всё нормально?

– Нормально. Дед Мороз, конечно, улётный, где они его взяли?

– Девчонки мне предлагали. Вам, говорят, и бороду надевать не надо.

– Нормалёк был бы, напрасно вы не захотели.

– Я, Саша, скоморошество недолюбиваю.

– А как же театр?

– Так вот в этой власти актёра над публикой и есть вся чертовщина. Театр точно не от бога, поэтому я его боюсь. И презираю, и боюсь, и восторгаюсь. Мне повезло, что я не попал в настоящий театр, я бы стал его рабом, я бы работал и жил в театре, может быть, даже не выходил из него. Благодаря театру я понимаю, как неразлучны любовь и ненависть... Закусывай, бери мандарин.

– Стучит посохом, аж дети пугаются. Вам сюда не слышно?

– Гул слышно, словно снежная лавина с гор катится.

– Это ещё детей не так много. У меня мандарины всегда с Новым годом ассоциируются.

– Да, мандарины, грецкие орехи, марля в крахмале и ужасный позор, потому что надо рассказать стишок, а ты не помнишь ни одной строчки. Мне Новый год дома нравился, в тишине. Родители ещё на работе, в комнате тихо, тихо, слышно, как тикают часы, кот спит на стуле, свернувшись клубком, и ёлка... высокая, почти до потолка, пахнет хвоей и медленно, медленно вращается блестящий шар на ветке, сначала в одну сторону, потом в другую. И я, словно замороженный, сижу у тёплого печного камина, и смотрю, как разбегается лучиками свет, отражённый от искристого бока шара. Прищуришь глаза, и лучи становятся длинными, чуть ли не на всю комнату. И всё так значительно. Вот такой я любил Новый год. А в детском садике в костюме зайчика я, помню, уписался. Разве это могло быть праздником!

– А я...

– Саша, ну где ты...

– Надя, иди, бухни с нами.

– Нет, нет, что вы. Саша, пора, уже начинаем.

– Николай Петрович...

– Да, да, давай, Саша, с наступающим!..

– Ну, всё, слава богу.

– Закончили?

– Да. Сейчас Альбина сюда придёт. Ничего, что я позвал?

– Ничего, только у нас выпивки всего-то... вот.

– Я сбегаю.

– Саша, и мандаринок, и шоколадку от меня.

– Здравствуйте, а Саша не у вас?

– Сейчас придёт, заходи.

– Первый раз в жизни Снегурочкой была. Так стрёмно.

На лице остались блёстки и розовая перламутровая помада на губах.

– Сейчас, сейчас придёт.

– А у вас уютно тут, и мандаринами пахнет.

– Я и сосновую веточку поставил в кувшин.

– Вижу... и дождик.

– Да. А этой игрушке знаешь сколько лет? Лет пятьдесят. Здесь, из окна корабля собака «Лайка» выглядывала, но я ещё ребёнком соскрёб её ногтём. Да, вот так смотришь на эту игрушку и думаешь, а был ли мальчик? Ты надолго к нам в ДК?

– Не знаю. Я учусь заочно в академии культуры в Харькове.

– Вот и я.

– Какая эта насмешка: человек рождается уже приговорённый к смерти. Похоже на подлость. Если это дело рук бога, то он подлец.

– Ты бы поаккуратней. Он ведь может наказать не тебя, а Серёжку, племянников.

– Вот видишь, вместо любви к богу у нас один страх.

– Да и страха что-то я не вижу.

– А с другой стороны, большинство и эти шестьдесят, семьдесят лет прожить вразумительно не могут. Что делать с бесконечной жизнью? С ума можно сойти. Наша жизнь без конца – это же и есть ад. Так вот зачем понадобилась загробная жизнь, чтобы продолжить этот ад.

– Ты макароны есть будешь?

– Буду.

- Чем тебе не угодила жизнь? Что в ней такого невыносимого? Тебя тошно слушать. Какие нервы надо иметь, чтобы жить с тобой.
- Потерпи, уже немного осталось.

Надя зашла к Николаю Петровичу, как обычно с пеплом на груди.

- Слышали, Марина рассчитывается.
- Что такое?
- У них с новым директором сразу отношения не сложились.
- Поссорилась с директором?
- Да она её потихоньку ела, ела. Вы не замечали?
- Замечал. И все молчали.
- А что нужно было делать? Новая отчасти права. У неё в костюмерной ничего нельзя найти, и она вечно не успевает.
- Всё равно иногда директриса вела себя по-хамски. Нельзя при всех взрослой женщине говорить такие вещи. Другая бы на месте Марины так ей ответила.
- А тут ещё эта история с женихом...
- Причём тут это?
- Как, вы не понимаете? Ей же ужасно неудобно перед всеми... ну, что все знают, что её обманули.
- Да?
- Конечно. Поставьте себя на её место: растрезвонила, привела, показала всем и такой облом.
- Значит, мы дважды перед нею виноваты.
- Николай Петрович, я хорошо отношусь к Марине и виноватой себя не считаю. Человек сам причина своих несчастий. В конце концов, нельзя быть такой добренькой, это тоже, знаете... не совсем честно. Вот я, какая хорошая, никому ничего плохого не говорю, а вы все злые. Зачем быть белой вороной?
- Ты думаешь, она это специально?
- Но у неё так получалось.
- Она уже написала заявление?
- Да. И директриса сразу подписала.

– Ну вот, сбылись твои карканья – у нас первое увольнение.

- Наконец-то. Уже почти год прошёл. И кого же она уволила, не тебя ли, случайно? Не написала в трудовую, что ты алкоголик?
- Ой, ой, сколько же в тебе злого сарказма. Как тебе хочется оттоптаться на мне. Неужели я действительно заслуживаю этого?

- Я только спросила.
- Марина рассчитывается.
- Костюмерша? Мы недавно говорили про неё.
- Да, говорили.
- И как это всё произошло?
- Обыкновенно: написала заявление на расчёт, а та его подписала.
- Но ведь повод какой-то был?
- Помнишь, мы с тобой говорили, что она еврейка? Так вот евреи, они очень внимательны к своим нервам. Я имею в виду, что они предпочитают не нервничать и, в общем, я считаю, правы. Разве эта работа стоит нервов? Я тебя умоляю.
- Да, они умеют беречь себя. Это я, дура, всё здоровье на работе оставила. Говорят, сегодня магнитные бури – у меня голова просто раскалывается.
- Давай я давление измерю.
- Ну его к чёрту. Что толку?

- Николай Петрович, праздники закончились. Что будем делать с фойе? Я жду ваших предложений.
- Да, да, я помню.
- Я рада, что вы помните.

- Саша... Саша, ты меня слышишь?
- Да. Что вы говорите?
- Говорю, что математики подсчитали, по теории вероятности от создания атомной бомбы до гибели цивилизации может пройти максимум триста лет. То есть это может произойти прямо сейчас, но через триста лет произойдёт наверняка. Вот почему учёные не могут обнаружить в космосе сигналов развитой цивилизации. Они самоуничтожаются.
- Вы были когда-нибудь в Харькове?
- Приходилось. У меня даже были там друзья.
- Да? Почему были?
- Понимаешь, на что можно было не обращать внимания до четырнадцатого года, после стало непреодолимым препятствием. Даже странно, с какой определённой прошло размежевание по вопросам, которые до этого и не обсуждались. Сколько потенциальных противоречий существует. Мне кажется, любое общество можно расколоть пополам. По самому ничтожному поводу. И с помощью денег довести градус противостояния до резни. Элементарно.
- Нас пригласили поиграть в одном харьковском кафе.
- Кто?
- Через Альбину – она же учится в Харькове. Как вы думаете, стоит соглашаться?
- Саша, конечно.
- Дорога за свой счёт. Надо будет нанимать микроавтобус. Аппаратура, инструменты... мы посчитали, ещё и в накладе остаёмся.
- Саша, ну что такое... Вы хотите заработать или показать себя?
- А что вы говорили про атомную бомбу?
- У нас есть шанс умереть своей смертью.

- Ты двери закрыл?
- Закрыл.
- Уже одиннадцатый час – выключай свет.
- Да.
- Ты когда пойдёшь анализы сдавать?
- Они платные.
- Ну и что?
- Лучше побережь эти деньги на похороны.
- Ты уже умирать собрался?
- Ну, а что тянуть?
- Мелешь своим дурным языком.
- Мелю... Кто-то из мудрецов сказал, что он три года учился говорить и всю жизнь – молчать. Мне иногда приходит в голову мысль: жаль, что я не глухонемой. Сколько глупостей я бы не сказал, и сколько неприятного не услышал бы. Десятки раз обещал себе молчать, и всё напрасно. От долгого молчания у меня портится настроение. Говорят, под языковой косточкой есть какой-то нерв, связанный с центром наслаждения в мозгу. Поэтому говорильня доставляет удовольствие. Неважно, о чём. Лишь бы этот нерв вибрировал. Можно просто рычать. Я иногда специально иду к железной дороге, жду, когда подойдёт товарняк, и под его грохот кричу изо всей силы. Знаешь, как потом хорошо становится.
- Ты хотя бы не рассказывал. Боже, с кем я живу.

– А ещё мне иногда кажется, если бы я не был трусом, я бы мог стать маньяком. Серьёзно. Сколько раз я ловил себя на том, что мне хочется схватить женщину зубами за горло. Не всякую, конечно, а молодую и хорошенькую. Медленно, медленно сжимать челюсти.

- Так, отодвинься от меня.
- Ты всю жизнь прожила под дамокловым мечом.
- Я это чувствовала.
- Тань...
- Что?
- Мне плакать хочется.
- Ну, поплачь.
- Можно?
- Можно.
- Тогда обними меня.
- Спи.

– Николай Петрович, так мы репетируем «За двумя зайцами». Не хотите посмотреть? Я подумала, нам ничего особенного и не нужно: стол, стулья в ДК есть...

- Да, можно и так.
- Придёте?
- Приду.

Кресла в зале были скрипучие.

- Ну как, Николай Петрович?
- Странно в Украине украинскую пьесу играть по-русски.
- Но все её в таком виде только и знают.
- Вот это и печально.

– Я даже не думала об этом и украинского текста никогда не видела. Но что вы скажете, как вам Проня?

- И вы хотите с этими стульями играть – они же современные.

– Ну, поищем, Николай Петрович, мне где-то попадался венский стул. Дело в том, что все помнят фильм, поэтому обязательно должны прийти, посмотреть. Я так думала... Пьеса весёлая...

- Да.
- Вы сомневаетесь, что у нас получится?
- Нет.

- Николай Петрович, вы знаете, что я рассчитываюсь?

– Да, Марина.

– Татьяна Викторовна решила, что я из-за её костюмов рассчитываюсь. Она хотела, чтобы я для её спектакля костюмы шила. Я, может быть, и пошила, если бы было из чего, но я больше не могу терпеть нашего директора. Она всё время ко мне придирается.

– Она ко всем придирается. Дело в том, что в её понимании директор самый умный человек в коллективе, и она обязана наставлять всех на путь истинный, следить, чтобы никто не делал глупостей, не шалил и выполнял всё, что она скажет.

- Но с чего она взяла, что самая умная?

– Как с чего? Если директором поставили её, а не кого-то из нас, значит она умнее, значит она лучше тебя знает, как надо шить, лучше меня, как надо оформлять, лучше Ольки, как надо писать сценарии.

- Как так можно думать? Неужели она не понимает, что это неправильно?
- Не понимает, и с этим надо смириться.
- Я не могу.

– Придёшь в другое место, и там будет точно такой директор и пройдёт ещё сто лет в этой чёртовой азии, и всё будет то же самое: глупый холоп и умный начальник. Пол-оборота назад и она была бы тебя розгой по рукам.

– Моя мама всю жизнь работала закройщицей, так её в ателье уважали.

– Конечно, потому что директором ателье был какой-нибудь Абрам Иосифович, да и портные тоже... Ты, кстати, заметила, как только евреи уехали в Израиль, город изменился. Как будто с него содрали лак, стёрли позолоту, как будто ботинки перестали мазать гуталином и чистить щёткой.

– Моя мама не хотела покидать могилу папы.

– Ну, а тебе что мешает уехать? Уезжай отсюда к чёртовой матери, пока ещё не стала старухой.

– Легко сказать. Кто меня там ждёт.

– Николай Петрович, Ромка на машине приезжал.

– Купили? Что за машина?

– «Ланос»... не новый, конечно, но выглядит прилично. Вы никогда не хотели иметь машину?

– Саша, я хотел художником стать. Чувствуешь разницу? Что такое иметь машину? Что это за такая мечта? Машина либо нужна, либо не нужна.

– По-моему, машина всем нужна, но не все могут себе позволить её купить, отсюда и мечта. Разве не удобнее ездить на своей машине, чем ждать троллейбус или ходить пешком?

– Саша, не раздражай меня. Ты же музыкант, а завидуешь какому-то чуваку, который купил подержанную машину. Ну, что это такое!

– Да не завидую я, и причём тут музыкант. Если музыкант, так уже нельзя говорить о материальном? Вы думаете, Битлз не думали о деньгах?

– Вы в Харьков собираетесь ехать?

– Собираемся.

– Как съездили?

– Отлично, Николай Петрович.

– Народу много было?

– Да, да, всё отлично. Дорога, конечно, все устали, а так... всё замечательно. Что ни говори, а Харьков – это Харьков. Молодёжи, студентов... Хозяин сказал: можете хоть каждую неделю приезжать. Если бы было немного ближе, или хотя бы свой транспорт, или было где остановиться.

– Что за кафе?

– Отличное кафе. Правда, небольшое, но всё продумано. В полуподвале. Перед нами саксофонист там выступал. Николай Петрович, ну что вы хотите, я же говорю: Харьков.

– Саша, так хватайтесь руками и зубами и перестаньте считать деньги.

– Принимали хорошо. Мы несколько хитов сыграли, так прямо на ура.

– Не думайте о деньгах, ты слышал меня?

– Альбина с нами ездила – ей тоже понравилось.

– Ну, я рад за вас.

– Николай Петрович, а что вы говорили про друзей? Вы говорили, что у вас в Харькове были друзья.

– Саша, не друзья, конечно, знакомые, в основном художники, но была парочка поэтов, писатель, даже музыкант из симфонического оркестра. На гобое играл. Станный молчаливый чувак был. Он потом зачем-то из окна выпрыгнул. Так никто ничего и не понял. Но был и очень близкий мне товарищ. Почему был? Он и есть, и мы могли бы с ним общаться, как и прежде, но для этого надо, для этого надо... Нет, пока это

невозможно. Странная вещь с ним произошла, или, может быть, я просто не замечал, что это в нём есть. Видишь ли, мы знакомы с ним очень давно, и он казался мне таким хиппи, леваком, интернационалистом. Нет, у него и тогда был какой-то пристальный взгляд на историю России. Во всех её проявлениях обнаруживал уникальность, вызывавшую в нём восторг. Когда это касалось культуры, я, в общем, и не возражал. Пушкин, Достоевский, Гоголь, Лермонтов... тут всё понятно, но дальше шли разговоры об уникальной русской цивилизации, о мессианской роли России. Это как-то не вязалось с его чегеваровской внешностью с коммунистическими убеждениями. Я попросту старался не замечать его пристрастности ко всему русскому, к выпячиванию русской исключительности. Странно, с одной стороны, он был ярый противник национализма и национальных движений, начисто отвергал идею украинской государственности как пережиток прошлой эпохи, а с другой стороны, считал укрепление России великим цивилизационным благом. Но я всё ещё мирился с этим, терпел, пока в четырнадцатом году мне окончательно не стало понятно, что он типичный нацбол уровня Лимонова, умеющий умно и едко аргументировать, подгонять факты, агрессивно агитировать, давить, настаивать. Я слишком слаб, и характером, и физически, чтобы сопротивляться этому натиску, я попросту перестал с ним общаться. Хотя я от этого много потерял. Моя жизнь как-то скукожилась, стала мельче, но с другой стороны так мне проще сохранить своё мироощущение. В нём моя идентичность, моя сущность, какой бы она ни была. К чёрту. Великороссы... Ну, ладно, пусть они будут великие, но какими надо быть сволочами, чтобы других назвать малороссами. Ох, и получают они когда-то за свою великость. Отольются кошке мышьи слёзы.

- Сашка с друзьями ездили в Харьков выступать.
 - Кто же их туда пригласил?
 - Пригласили... В каком-то ночном кафе. Я вспомнил о Лёшке. Может быть, позвонить ему?
 - Позвони.
 - Нет, не хочу.
 - Почему?
 - Опять начнёт мне про Советский Союз нерушимый...
 - Ну и что, слушаешь ещё раз.
 - Не хочу. У тебя печка вся заляпанная.
 - Ты это специально? Хочешь, чтобы у меня давление подскочило?
 - Отчего? Что я такого сказал?
 - Взял бы молча и помыл сам.
 - О, зацепил против шерсти.
 - Прекрати.
 - Ты знаешь, что из-за твоего характера мы так и не стали близки. Я никогда не мог сказать тебе, что думаю, и я подозреваю, что ты тоже прятала свои мысли. А без исповедальности, без искренности, душевная близость невозможна.
- Таня ушла в спальню и закрыла дверь.

– Надя, Николай Петрович всегда такой был или это он при мне ничего не хочет делать. Который месяц не могу добиться от него, чтобы мы оформили фойе. Что-то я не разберусь.

– Он интересный, может быть, немного странный, но старики, они все странные, потому что им кажется, что только они могут понимать жизнь. У меня мама такая...

– Я бы, конечно, предпочла видеть у себя другого художника. Вы только не говорите ему, но, в самом деле, уже сидел бы дома.

– Он опытный.

– Жизнь меняется. Я даже не знаю, понимает он это или нет. Надя, я тебя попрошу, поговори с ним, меня он просто игнорирует.

– О чём?

– Ну, что я жду от него работы. Кстати, у тебя нет на примете кого-то, кто бы мог работать костюмером?

– ...Нет.

– Надо сказать Николаю Петровичу, что директриса на него зуб точит.

– Я думаю, он и сам это знает. Представляете, если Николай Петрович уйдёт? С ним так удобно было работать: понимал всё с полуслова.

– Да, и поговорить с ним интересно, он так много знает и рассуждает оригинально.

– Но иногда бывает противный. Не люблю его шуточки, наигранный скепсис.

– А мне нравится, как он шутит, особенно, если выпьет...

– Фу, нет, так и лезет высокомерность, неуважение... Мне кажется, он презирает женщин.

– Я никогда не слышала от него ничего оскорбительного.

– Хватит вам. Взялись перемывать косточки. Вы только ему ничего не говорите. Пусть директриса сама с ним разбирается.

– Что Николай Петрович, вот Саша от Альбины не отходит...

– Николай Петрович, мне тридцать два года...

– А моему сыну тридцать четыре.

– Говорите, он у вас не женатый? Согласитесь, что рано или поздно начинаешь задумываться, что надо бы как-то уже остепениться.

– Да?

– Ну, конечно, Николай Петрович, тридцать два года, а у меня ещё не семьи толком, не ребёнка. Надо же след оставить в жизни, чтобы хотя бы кто-то после тебя фамилию твою носил.

– Вот как...

– А что? Хватит уже ребячиться.

– Так в чём дело?

– Я же говорил, Наташка аборт делала, вряд ли у неё будет ребёнок, а что это за семья без детей. Нет, я серьёзно, я же не виноват.

– А аборт у неё не от тебя?

– Нет, это ещё до меня у неё кто-то был. Вам ведь Альбина тоже нравится?

– Саша, да мне любая молодая девка нравится. В моём возрасте это уже эстетическое чувство. Не понимаю, как у денежных стариков хватает совести жениться на девочках. Как можно показывать им своё тело, если оно тебя самого отвращает. Неужели трудно представить, как она наедине с собой, где-нибудь в ванной потом кривится. Я понимаю, что женщинам свойственно терпеть насилие над собой, так устроена природа, но сейчас, чуть ли не впервые в истории им предоставляется выбор. И что? Они выбирают то, что раньше от них требовали без всякого согласия. А что это ты вспомнил Альбину?

– Ну... мы с нею любим друг друга.

– Как же Наташа?

– Наташа... Я же вам объясняю, что хочу ребёнка.

– Да, я, Сань, в твоей ситуации не был. Я женился в двадцать два года. Причём у меня было твёрдое чувство, что женюсь я на всю жизнь, поэтому, помню, чертовски нервничал. На всю жизнь! Всё равно что прыгнуть со скалы. Понимаешь, бесповоротный выбор.

– Но почему? Неужели это правильно? Людям свойственно ошибаться. Значит надо допускать возможность исправления ошибки.

– Бывают, Саша, случаи, когда ошибку исправить нельзя.

– Но женитьба, мне кажется, не тот случай.

– В моей жизни – тот. Я тебе даже не смогу объяснить почему. Не знаю почему. Я помню, тогда даже устроил испытание, но не себе, а судьбе. Взял перед самой свадьбой у приятеля мотоцикл и погнал со всей дури по железнодорожной насыпи. Думаю, если со мной ничего не случится, если не ударюсь в столб или не полечу под откос, значит жениться на Танюхе моя судьба.

– Никогда не жалели?

– Всю жизнь жалел, но это не имело никакого значения. Я, к примеру, всю жизнь жалел, что не могу сесть за штурвал самолёта или сыграть на органе. В такой жалости даже есть что-то приятное, сладостное. В человеке должно быть несбывшееся. Жизнь как родник, нельзя вычерпывать до дна. Что-то должно оставаться неосуществлённое. Глупые, бесстыдные даже преступные желания, заведомо неосуществимые, делают жизнь богаче, объёмнее, ярче. Сколько жизней я прожил мысленно, сколько жён и любовниц, Саша, у меня было, где только я не побывал, какие чудные картины я писал. Так что это замечательно, что мне было о чём жалеть. Если жалел, значит обладал фантазией. Только примитивные уроды не о чём не жалеют.

– А я не хочу потом жалеть.

– Всё равно пожалеешь. Не об этом, так о чём-нибудь другом.

– О другом – это ладно.

– Мне надо с вами поговорить.

– А вы кто?

– Жена.

– Чья?

– Я жена Горбенко Александра. Он у вас тут, на работе, завёл шашни с какой-то блядью.

– Да? С чего вы взяли? С чего вы взяли, что именно на работе?

– Я знаю.

– Интересно, кто бы это могла быть? Я ничего не замечала. Интересно, интересно. Так вы точно знаете, что она работает у нас в ДК?

– Да, он сам об этом сказал.

– Я не могла подумать, что Саша... он мне казался порядочным парнем. Но кто же это такая, он не говорил?

– Нет.

– Вот засранец. Вы давно с ним женаты?

– Давно. Мы живём вместе лет шесть.

– Да, да, я вам сочувствую. Эти мужчины, чёрт бы их побрал, иногда выкидывают такие кренделя. Никакой ответственности. Поманит какая-нибудь пальцем, и они уже ни о чём не думают.

– Я хочу узнать, кто это сучка.

– Теперь и я хочу это знать. Но, предположим, выясним мы кто она, и?..

– Я ей набью морду.

– И что?

– Не знаю, но я хочу плюнуть ей в глаза.

– Какая вы.

– Я шесть лет угрохала на этого козла.

– Понятно.

– Вы должны помочь мне, уволить эту стерву.

– Думаете, это поможет? Они начнут встречаться в другом месте. Да они и так, я думаю, встречаются, кроме Дворца культуры.

– Поговорите с ним, припугните чем-нибудь.

– Поговорить я, конечно, поговорю, а вот напугать вряд ли смогу. Если он, девочка, не боится потерять тебя, то что тут поделаешь.

– Надя, мне надо с тобой поговорить.

– Да, слушаю вас.

– Ко мне приходила Горбенко жена...

– Наташа? Она и к нам заходила.

– Так вы все в курсе? И с кем же это он, уж не с библиотекаршей?

– Нет, с Альбиной.

– И давно они?..

Надя пожала плечами, увидела пепел на лацкане и смахнула его длинными ногтями.

– Жена просит, чтобы мы как-то подействовали на него.

– Как мы можем подействовать? Причём тут мы. Они, между прочим, даже не расписаны.

– Да? А она мне не сказала.

– Ну, они оба это не афишировали, но теперь она пожалеет.

– Всё равно я с ним поговорю. В конце концов, это непорядочно с его стороны, даже подло. Я представить не могла, что мне придётся разбираться с такими вещами.

– Николай Петрович, ну вот какое ей дело? Зачем она лезет в чужую личную жизнь? Когда уже закончится этот совок?

– Боже мой, Саша, что случилось.

– Директриса начала мне выговаривать насчёт Альбины.

– А как она узнала?

– Дура, Наташка, приходила жаловаться. Тоже баба с приветом оказалась. Кому ты жалуешься, на что? Не понимаю я этого. Это моё личное дело, мои чувства, я, может быть, в них сам ничего не понимаю. Вернее, понимаю, но не могу повлиять. Они же не возникают по нашему желанию. Не было Альбины, у меня были одни чувства, появилась она, появились другие чувства. Увидел её глаза, услышал голос, поговорил с нею и, пожалуйста, чувства. Но, конечно, и ребёнок. Хочу ребёнка, а Альбина уже беременна...

– Так она уже и беременна.

Саша покраснел, как в бане. Он, наверно, и сам бы изумился той улыбке, что возникла на его лице.

– Да.

– Ну, тогда мосты сожжены. Ты говорил об этом Наташе?

– Нет, ещё не говорил.

– Я думаю, надо сказать.

– Надо. Я сам знаю, что надо.

– Ты, Саня, даёшь. Когда вы успели?

– Успели... Это нормально: я хочу ребёнка, а она молодая, красивая.

– А Наташа?

– Николай Петрович, вы думаете, мне её не жалко, но что лучше: когда мы все трое будем несчастны или одна она?

– Саша, а что лучше: всем умереть или одному? Мне кажется, бывают ситуации, когда выбор невозможен, потому что все варианты плохие. Но всё равно приходится выбирать, и тут жертвовать надо собой.

– Я же сказал, от моей жертвы никому хорошо не станет.

– Теперь конечно. Раньше надо было думать, когда ты только ещё увидел её глаза, а не всё остальное.

– Николай Петрович, я надеялся, найду у вас поддержку. Разве мне легко? Меня самого всё это огорошило.

– Так, а что я, Сань? Чёрт его знает, чтобы я сделал сам. Это я так... в теории... Я только знаю, что я трус и, наверно, испугался бы такой ситуации.

– Вероятно, вам в своё время не встретилась такая как Альбина.

– Да нет, Саша, наверно встречалась, и не одна. Мне кажется, таких Альбин полно, на каждом шагу, полные улицы, троллейбусы, весь мир сплошные Альбины, надо только разрешить себе любить. Я не разрешал. С любовью столько хлопот. Да ты теперь сам знаешь.

– Кто тебе звонил?

– Лёнька Зорин.

– Что это он вспомнил?

– Приехал какой-то Костя Костенко... одноклассник. Видимо, у него жизнь удалась: хочет собрать одноклассников, чтобы похвастаться.

– Почему какой-то, ты его не помнишь?

– Абсолютно, ни малейшего представления, кто бы это мог быть.

– Как так можно?

– Я в этой школе учился только последние два года.

– Что вы решили?

– Я ещё ничего не решил. Нас в городе осталось раз-два и обчёлся: Метелина, Дыдыкина, Скуригин, Гаркуша... Может быть, ещё кто?

– Вы с Лёнькой.

– Мы с Лёнькой...

– Дыдыкина... это не та, что завкардиологией?

– Та.

– Её-то ты помнишь?

– Её-то я помню. Она отличницей была. Я на неё смотрел, как свинопас на принцессу, не смел подойти к ней, коснуться.

– После школы ты видел её когда-нибудь?

– Нет.

– Так откуда ты знаешь, что завкардиологией это она?

– Лёнька Зорин говорил. У неё почему-то осталась девичья фамилия. Ты знаешь, нельзя сказать, чтобы она была гордая, высокомерная, неприступная, при всей её красоте, ей не хватало сексопильности, она не издавала сучьего запаха. У неё и ухажеров в школе не было. Её красота была какая-то домашняя, сестринская. Я мог бы представить себя её младшим братом, которого она учит чистить зубы или читает ему книжки. Тем более, что у меня не было сестры.

– Что-то ты много о ней говоришь.

– Ты сама спросила.

– Я спросила, потому что она завкардиологией. Такое знакомство не помешает в нашем возрасте. Как ты думаешь, она тебя помнит?

– Не знаю. Нам с нею не о чем было говорить, уроков я не знал, ни заводилой, ни хулиганом не был. Замечала ли она меня вообще? Если и помнит, то как глупого ленивого робкого мальчишку. Меньше всего мне хотелось бы напоминать о себе. Ни малейшего желания.

– Ты решил не идти?

– Ей-богу, Таня, не хочется.

– Думаешь, твои отличницы не стали обыкновенными старухами?

– Я понимаю, что юношеские комплексы полная чепуха, как и все эти школьные знания. Если кто-то на несколько недель запоминал какую-то формулу, он не становился образованнее – это понятно, но теперь это и не важно. Теперь они предъявляют другой аргумент: машина, дача, шик.

– Ты думаешь, у них будет этот шик?

– Не знаю, Тань. И вообще, воспоминания... Может быть, я какой-то извращенец, но я ничего не помню о школе хорошего. Ничего. Ни одного дня, ни одного события. Я каждый раз бежал из школы так, как будто в ней разгорался пожар. До следующего утра она в моём сознании сгорала дотла. Её не существовало, но холодным сумрачным утром я снова обнаруживал её казённые стены и полную пустоту в голове. Полдня мне нужно было как-то скрывать эту пустоту от учителей, которые всеми коварными способами пытались её обнаружить и потом заклеить меня. В школе я чувствовал себя так, как наверно чувствовали себя евреи со звездой Давида на спине. Вот зачем мне всё это вспоминать?

– Николай Петрович, мы с Альбиной решили уехать отсюда. Что молчите?

– Жалко, я привык к тебе.

– Мне тоже жалко, но какой смысл нам тут оставаться. Альбина всё равно беженка, а на меня Наташкины родители смотрят как на врага народа. И она всё никак не успокоится: следит за мной, уговаривает. Я ей объясняю: Наташа, всё конечно, а она вцепится мне в локоть и смотрит в глаза, как удав, того и гляди пойдёшь с нею. Нет, надо уезжать. Так будет лучше для всех.

– Как же ваша группа, музыка?

– А что музыка?.. Не знаю. Музыкай можно заниматься везде, было бы желание.

– И куда вы планируете уехать?

– В Киев... У Альбины там старшая сестра на стройке работает. Снимем вместе квартиру. Я устроюсь... куда-нибудь.

– Ну и хорошо. Киев – это хорошо. Я люблю Киев. Я влюбился в него с первого раза. Может быть, потому, что было лето, грозы были громкие, дожди тёплые, я молодой, радуга над белой Дарницей, крест Владимира в голубом клочке неба между сливовыми тучами и солнечные искры, отскакивающие от мокрого асфальта. Вальжный, спокойный Днепр боком трётся о Владимирскую гору, Саша, вы никогда не были в Киеве? Поезжайте в Киев – это мудрое решение, и дай вам бог удачи. Где эта грёбаная Курдюмовка, и где Киев... Саша, я сейчас расплачусь. Да, только не забудь поставить отвальную.

– Я ещё никуда не уехал.

– Оля уехала в Краматорск к родителям.

– Так она что, рассчиталась?

– Да. Наверно, ей тяжело было тут оставаться.

– Вот и скажи, что у человека нет написанной судьбы: всё равно его смерть догнала. Я не знаю, что бы делала с этими крутыми уродами.

– Говорят, таксисты два дня возле здания суда гудели. Хорошо, что Ромка в тот момент без пассажиров был.

– Ты уж как-то слова подбирай: говорить «хорошо» в этом случае...

– Подберёшь тут...

– Саша с этой своей Альбиной тоже уехали?

– Нет ещё. Обещал зайти, попрощаться.

– Я вижу, у нас новенькая.

– Да, познакомьтесь, Света. Она вместо Оли.

– Понятно. А что вы всё пишете? Когда к вам не зайти, вы всё пишете.

– Николай Петрович, вы как сегодня родились. Надо же отчитаться за прошедший квартал: сколько было проведено мероприятий, каких, сколько охвачено людей, кто привлекался к мероприятию и т.д., и т.п. Потом надо подать план мероприятий на следующий квартал: где, когда, с кем... А вы как думали? Всё это будет храниться в отделе культуры в течение двадцати лет. Они, в свою очередь, напишут отчёт для

областного управления культуры. Там соберут эти отчёты со всех районных отделов, и тоже будут хранить сколько-то лет.

– А читать их кто-нибудь будет?

– Зачем? Вы думаете, кому-то это интересно?

– Надя, если не читают, как же они знают, кого хвалить, а кого ругать?

– Так они позвонят по телефону и спросят: сколько проведено мероприятий? И запишут где-нибудь себе на бумажке. Так же проще, чем искать ответ в этих талмудах.

– Потрясающая система. Она, вероятно, существует с тех пор, как изобрели письменность. Ну, а компьютер у тебя на столе зачем стоит?

– Смешной вы, Николай Петрович, чтобы я всё переписала в компьютер и сбросила по электронной почте туда.

– Вот как?

– Можно подумать, вы не знали об этом.

– Я, девочки, мазохист. Мне доставляет удовольствие слушать про маразм нашей жизни. Мне кажется, вот природа ни хрена не планировала. Я просто уверен, что у неё не было в планах столько-то миллионов лет развивать микроорганизмы, потом создать беспозвоночные, потом до такого-то года населить Землю динозаврами, а в таком-то тысячелетии замахнуться на человека. Каждый следующий этап наступал не по плану, а потому, что для него созрели условия. Созрели естественным путём. Возможно, так дольше... Девки, представьте, что где-нибудь в чёрной космической дыре вышестоящая контора и оттуда по телефону спрашивают, когда вы, наконец, закончите на Земле эволюцию, так вас растак. Лишим премии. Во, меня понесло. Ладно, не буду мешать.

– Кто это?

– Наш художник.

– Ну, Саша заходил?

– Мы бы напились. Нет, уехал, чертёнок, не попрощавшись... Я сегодня в коридоре упал, голова закружилась... Хорошо, что никто не видел. Заходил к девчонкам, они пишут план мероприятий. Оказывается, в этом году отмечается пятисотлетие Реформации.

– Чего пятисотлетие?

– Реформации... и мы должны запланировать мероприятие.

– Но это что-то из религиозной жизни. Причём тут ДК? Ты ничего себе не ушиб? Если плохо себя чувствовал, зачем шлялся. Девки тебе понадобились...

– Упал я позже.

– Дай я посмотрю на тебя.

– Что?

– Почему ты не пойдёшь к врачу?

– Что толку.

– Сами запускаем себя, потом нам кто-то виноват.

– Вашего врача нет: он на курсах. Будет только через две недели. Если что-то срочное, хотите, я запишу вас к другому...

– Нет, спасибо.

– Николай Петрович, вы так ко мне относитесь, как будто я заняла ваше место.

– Моё? Как вы могли занять моё место? Я вас не понимаю.

– А я вас не понимаю, но чувствую с вашей стороны какую-то ревность и неуважение. Только, имейте в виду, мне всё равно, вы меня этим не достанете.

– Господь с вами. Я ничего такого не хотел, вам показалось. Если бы я мечтал стать каким-нибудь директором, я бы стал им ещё до вашего рождения. Вы об этом?

– Но я же вам как директор не нравлюсь?

– Ну и что? Зато, может быть, вы мне нравитесь как женщина. И вы, в самом деле, симпатичная женщина... ноги ровные, грудь, бедра...

– Прекратите, я вам не лошадь. Если вы старше – это ещё не значит, что имеете право говорить мне гадости.

– Что я такого сказал? Да французская женщина на вашем месте была бы благодарна мне, что я вижу и ценю её прелести. А вы действительно хотите, чтобы я их не замечал? Вам, действительно, больше нравится быть не женщиной, а начальством?

– Так вы просто женоненавистник, вам не нравится, что ваш директор – женщина.

– Скажем так: мне не нравится, что хорошенькая женщина – директор.

– Спасибо за откровенность. Теперь мне всё ясно. Я раздражаю ваше мужское самолюбие.

– Самолюбие? Да нет у меня уже никакого самолюбия. Меня раздражает эклектика, отсутствие в этом гармонии. Даже плохой художник больше всего на свете ценит гармонию.

– За умными словами вы скрываете обыкновенное хамство. Я вас не принуждаю терпеть себя, можете рассчитывать, если хотите.

– Я подумаю.

– Подумайте.

– Переворачивайся на живот. Какие вы, мужики, боягузы. Обыкновенного укола всю жизнь боитесь... Ну, больно?

– Так...

– Лежи. Пусть рассосётся.

– В детстве, когда мне лечили зубы, врач удивлялась, какой я терпеливый мальчик. И никто не понимал, что я не кричу от боязни, что меня будут ругать. Тётя рассердится, и это мне казалось страшнее зубной боли. Мне иногда приходит в голову, что если бы я был не я, а мой знакомый. Вряд ли я был бы рад такому знакомству. Надо же случиться: всё, что я в человеке не люблю и презираю, принадлежит мне самому. Может быть, это господние наказание, может, этим я искупаю грех своих родителей, может, за мои страдания на земле мне уготована райская жизнь?

– Можешь переворачиваться, страдалец.

– Как бы я хотел быть смелым, благородным, умным, талантливым, обаятельным, решительным, немногословным, остроумным, сильным... а бог сделал меня трусливым, мелочным, глупым, бездарным, нерешительным, слабым, неприятным типом. Самое мучительное, что я это понимаю. Бог дал мне жизнь, заведомо изгадив её. Как какой-нибудь мальчишка в насмешку угощает тебя конфетой, предварительно испачкав её в грязи.

– Есть на кого свалить. Мы только тогда и вспоминаем о боге, когда надо найти виноватого. У нас во всём виноват бог. А что же ты сам, если понимаешь свои недостатки, ничего не делал, чтобы измениться?

– Как раз этого мне и не дано. Бог не дал мне такой способности, сделав меня безвольным. Я не могу бороться с собой. Я как бы наблюдаю за собой со стороны. Наблюдаю и никак не могу повлиять. У меня нет приводного механизма. Я с собою не связан. Я могу только переживать за себя. Эта беспомощность мучительна. Представь, что ты сидишь на водительском месте, а руля перед тобой нет.

– С такими мыслями никакое лекарство не поможет. Неужели ты не можешь подумать о чём-нибудь хорошем, приятном.

– Хорошо, Танюша, я буду думать о тебе.

– Вот сейчас ты мог сказать что-нибудь другое или промолчать?

– А что такого я сказал?

– Ничего.

– Что это?

– Рисунки вашей Саши. Я собрал их в отдельную папку. Вероятно, я скоро уйду, жаль, если рисунки пропадут. Сберегите их.

– Вы считаете, у неё есть талант?

– Я не знаю, что такое талант в этом возрасте. Не уверен, что ей нужно становиться художником... ещё столько воды утечёт. И вообще, это не женская профессия, хотя и этого я точно не знаю. Одно скажу: мне нравятся её рисунки. Я бы с удовольствием забрал их себе, будь я моложе.

– Вы собрались уходить?

– Да, сколько можно. Хочу завести на даче кур и обязательно петуха, горластого-прегорластого, чтобы орал по утрам и весь день. Представляете, лето... Как только Саше исполнится лет восемнадцать, покажите ей её рисунки. Думаю, она будет удивлена, и ничего в них не поймёт. Но всё равно сделайте это, может быть, я ошибаюсь.

– Николай Петрович, вам не жалко уходить?

– Почему мне должно быть жалко? Я ничего не теряю.

– Всё же... Столько лет здесь проработали.

– Да сколько? Лет десять, кажется... Это, Надя, для тебя десять лет ещё срок, а у меня таких десятков уже семь. Нет, прошлое мне не интересно. Моё прошлое, как плохая книжка, один раз прочёл, и всё: сюжет знаешь, зачем к ней возвращаться? Будущее намного интереснее, хотя и его можно предвидеть. Если не обманываешься в себе, если хорошо сознаешь, кто ты есть, можно предположить, что твоё будущее будет похоже на твоё прошлое, так что... к чёрту, надоело. Знаешь, ещё несколько месяцев назад мне хотелось устроить нашей директрисе какую-нибудь каверзу... А теперь даже этого не хочется. Равнодушен я к ней стал. Она перестала меня злить, представляешь? И вообще я перестал злиться. Раньше меня столько вещей злили. Мещане злили, плохая живопись злила, жена, Путин, империализм, дамы с собачками, март злил своим оттаявшим говном, пластиковые бутылки, культурные мероприятия злили своей дебильностью, сосед отвисшей челюстью, сопляшня с голыми щиколотками... И вот, уже ничего не злит. Просто противно. Противно и скучно. Скучно и противно. И Сашки нет пожаловаться, так я хоть тебе душу изолью.

– Мне чуть-чуть...

– Когда мы с тобой ещё выпьем.

– Если вы уйдёте уже, наверно, никогда.

– Да. Жизнь так устроилась, что мы теперь не нуждаемся друг в друге непосредственно. Кто-то испёк хлеб, кто-то привёз его в магазин, а кто именно, для меня не имеет значения. И так во всём. Нам нет нужды запоминать друг друга. Какие-то люди ходят вокруг, что-то делают. Не сделает этот, сделает другой. Вот вместо Сашки пришёл человек... И всё как было. Можно даже на это не обратить внимание.

– Но вы же не дружите с ним так, как с Сашей.

– Да разве это была дружба? Сидели, болтали от скуки. Нам и не нужна была дружба. Что бы мы теперь делали со своей дружбой? Переживали бы друг за друга, беспокоились: как там, что там с ним? Это всё равно, что кругом носить с собой пуд соли. Рано или поздно проклянешь эту ношу. С любовью, между прочим, то же самое.

– Так, по-вашему, лучше не любить и не дружить?

– Это ты сама решай. Хотя... в конечном счёте, мы ничего и не решаем. Всё устраивается само собой по какому-то неизвестному нам закону. Ведь яблоко падало на голову и до Ньютона. Может быть, когда-нибудь люди откроют закон любви и одиночества. А пока и то и другое падает нам на голову по неясной для нас причине.

– Я помню, в молодости сходилась с людьми быстрее. В студенческие годы компания собиралась в считанные минуты, а теперь иной раз пригласят в гости, и

начинается... то мне к ним не хочется, то Ярику. Так бы и сидел дома. Жаль, что вы уходите. Я, может быть, тоже уйду.

– А тебе зачем уходить?

– Что тут хорошего. Думаете, одному вам надоело.

– Не знаешь, кто теперь на твоём месте работает?

– Никто.

– Ещё никого не взяли?

– Мою должность сократили.

– Им не нужен художник?

– Нет.

– Почему?

– Видишь, как вредно долго жить: не только ты сам, но и твоя профессия со временем становится не нужной. Сейчас всё можно отпечатать. В любом размере. Но дело даже не в этом. Художник потребовался с возникновением религии из необходимости представить и изобразить божество, воплотить дух в зримый образ. Изображали животных, идолов, фараонов, два тысячелетия иллюстрировали на стенах храмов библию, потом появились коммунистические идолы, и мы с тобой как-то жили, потому что я умел сносно их копировать. И вот наступил странный для человечества момент, когда старые религии одряхлели, а новой не появилось. Мы зависли в бездуховности как в безвоздушном пространстве, потеряли под ногами почву. Художник больше не нужен, потому что ему некого изображать. Человек разуверился не только в божествах, но даже в себе, поэтому людей рисуют не как божественное создание, а как извращение, кусок сырого мяса. Изобразительное искусство выродилось в дизайн. Интересен не человек, а его одежда, вместо божка с пеньковой бородой дизайн автомобиля. И не надо думать, что это плохо. В объективной сущности нет ни хорошего, ни плохого. Так есть, и точка.

– У тебя какая-то мания всё представить в самом чёрном цвете. Люди живут и ни о чём таком не думают. Я тебя уверяю. Мне всегда казалось, что художник должен рисовать красоту. Разве мало в мире красивого. Зачем что-то выдумывать, а потом мучиться от того, что вас никто не понимает, что вы никому не нужны.

– По-твоему, красоту понимают все?

– Если это красиво, как можно не понимать?

– То, что понимают под красотой, отвратительно и пошло. Оно-то меня и погубило.

Я Серёжку встретил сегодня.

– Где?

– Возле магазина.

– Что же ты его не пригласил к нам?

– Он был с Галкой.

– Наверно, зарплату получил. Ты с ним разговаривал?

– Так... пару слов.

– Не говорил, когда у него отпуск?

– Нет... Да нам какая разница?

– Она его на море потащит.

– Ну и что?

– Деньги растратят.

– Таня, я так отвратительно спал эту ночь.

– Чай наливать?

– Да, и подай масло. Снится такая чушь. Ты знаешь, я заметил, вот уже лет двадцать мне перестали сниться желания.

– А что же тебе снится?

– Что тебе снится, крейсер Аврора?.. А снятся мне теперь одни страхи.

– Это какие же?

– Чего боюсь в жизни, то и снится. Говно, жабы. Представляешь, то и дело оказываюсь в местах, где всё в говне, и я вот-вот в нем вымажусь, или вокруг меня жабы, жабы, они лезут по моим ногам вверх, подбираются к лицу, рту...

– Перестань.

– Или снится, что я сломал ногу или руку. Нет, чаще ногу... совсем сломал, то есть она отломалась и я держу её в руке, или ещё хуже, нога отломалась не у меня, а у Серёжки... Ещё снится какой-нибудь бандит, враг, который собирается меня убить. Я не могу убежать, бью его изо всех сил, но понятно, что мои удары гаснут в пространстве. Вот ещё страшный сон: снится, будто у меня нет работы. Причём весь страх не в том, что у меня нет работы, а в том, что у всех она есть, а нет только у меня. Или у всех взяли картины на выставку, а у меня нет. Когда-то мне снилось, что я никуда не поступил и должен вернуться в школу, потом долгие годы снилось, как будто меня снова призывают в армию и я не могу доказать, что уже отслужил. Но эти сны уже давно не снятся, потеряли актуальность.

– Но и про работу уже можно забыть.

– Нет, это ещё свежо. Что интересно, во сне всё страшнее, чем наяву. Мне, конечно, неприятно говно, но не настолько, чтобы я приходил от него в ужас и содрогание, как это бывает во сне. И перспектива остаться без работы не казалась такой мрачной.

– А я сны редко запоминаю.

– Мой мозг совершенно не отдыхает. Я всю ночь сознаю его фантазии, чувствую, что мозг работает, но работает без меня. Иногда я ловлю себя на том, что пытаюсь во сне взять под контроль какую-нибудь историю, выстроить её более-менее правдоподобно, но в ту же минуту просыпаюсь. Может быть, из-за этой круглосуточной работы днём мозг работает не в полную силу, поэтому я такой тупой.

– Перед сном надо ничего не делать и стараться ни о чём не думать.

– Ну, не делать – ладно, а вот не думать... разве это возможно?

– Тань, я только что ехал в троллейбусе, а по улице, пытаясь успеть, к остановке бежал мальчишка лет десяти. Мне показалось, что это я.

– Таня, кто-то звонит.

– Слышу. Коля, это к тебе.

– Кто там?

– Сейчас увидишь.

– Боря?

– Мне сказали, ты решил поболеть?

– Есть немного. Но это ничего. Боря... Как ты нашёл...

– У меня хорошая память. Вот только номер квартиры... сомневался.

– Проходи, садись, рассказывай. Таня...

– У меня всё с собой.

– О, коньяк, сыр... А борщ будешь?

– Борщ? Сто лет не ел борщ.

– Сейчас разогрею.

– Так что это ты решил болеть?

– Старый я уже.

– Ну да, о какой старости ты говоришь?

– Ладно, не будем. Рассказывай, какими судьбами?

– Коля, что ты себе думаешь?

– Я только три рюмочки.

– Сколько лет прошло, как он уехал?

– Лет двадцать.

– Хорошо устроился, что рассказывал?

– Я вот что подумал: неравноправие начинается не с внешних запретов, а с того, сколько и что люди запрещают сами себе. Если ты обложишь себя всякими табу, тебе трудно конкурировать с людьми, позволяющими себе всё что угодно.

– Причём тут Борис? Ты лучше о нём расскажи.

– Я о нём и говорю. Ты же знаешь, что он отъявленный нахал. Моя беда в чём? В том, что я никогда не заходил в дверь с надписью «Посторонним вход запрещён». Эти надписи существуют, чтобы отпугивать таких лохов, как я. Фиг бы он уехал в Германию, если бы его останавливали запреты. Он три года жил там нелегально.

– А семья?

– Семья! Людка ушла от него в первый же год. Вышла замуж за хозяина галантерейного магазина. Торгует теперь носками.

– А дети с кем?

– Дети уже взрослые.

– Людка молодец. А он женился там?

– Живёт с какой-то адвокатшей. Она ему студию снимает в Мюнхене. И, судя по фотографии, старше него лет на десять.

– Он и фотографии показывал?

– Зачем ты ушла? Посмотрела бы.

– Неудобно. Не хотела вам мешать.

– Вот видишь, как обкрадывает нас деликатность.

– Надо было ехать, чтобы потерять семью. Он хоть с детьми общается?

– С младшей, Ленкой, кажется, так её звали? Да, говорит, в прошлом году приезжала к нему в Мюнхен на день рождения. А старшая уже замужем за негром.

– За негром?

– Да.

– Юлька?

– Ну да.

– А он что?

– Кто?

– Ну, они оба: Борис, Людмила?

– Говорит, хороший парень, программист. У них уже дочка.

– Чёрная?

– Ну, да, на фото негритосочка.

– Господи.

– Тань, я тебе удивляюсь. Ты у меня такая расистка.

– Причём тут расистка. Я поражаюсь, как им... мне кажется, я бы и с немцем не смогла бы.

– Да ты и со мной не особенно могла.

– Мир перевернулся. Ну, а с картинами у него что?

– Говорит, покупают.

– Мне никогда не нравились его картины.

– Мне тоже. Но, согласись, парень интересный.

– Да, парень... ему, наверно, уже за пятьдесят.

– Пятьдесят два. Он на пятнадцать лет моложе меня.

– Не говорил, зачем приехал?

– Ничего определённого. Врал про ностальгию, но, по-моему, осталось какое-то наследство.

– С нашими-то ценами наследства и на дорогу не хватит.

– А ведь очевидно, что у него таланта ни на грош... Впрочем, как и у меня. Эх, если бы это понимать в двадцать лет. Талант не может существовать в мелком ничтожном

человеке. Талант – это что-то большое, шевелящееся. Его не всунешь ни в ящик, ни в шкаф, ни в лавку. Для таланта нужно место, вот почему он всегда всем мешает, вокруг него вечно мышьяная возня, возле таланта невозможна спокойная жизнь, он обязательно напоздёт на вас, отодвинет в сторону. Чтобы справиться с ним, необходимы коллективные усилия, целые организации бездарностей вроде творческих союзов или отделов культуры. А что я? Кому я мешал? Кто заметит, что я исчез?

– Ну и слава богу, что никому не мешал.

– Да, я никогда не становился на пути стада баранов. А они пёрли и пёрли... Всю мою жизнь пёрли... и я всю жизнь простоял на обочине, глотая пыль.

– Борис, видишь, помнит – к тебе зашёл.

– К кому же ему ещё идти? Витька сразу расскажет, как учил его в изокружке, прямо намекая, кому он обязан своими успехами, Андрюшко до лампочки какой-то Мюнхен – он и тут зарабатывает на мелочевке. Только у меня нет никакой альтернативы, только у меня есть повод завидовать, вот ко мне он и пришёл.

– Чему тут завидовать? Тому, что жена ушла, что дочка вышла замуж за негра? Бр...

– Таня!

– А, что? Помню, мы с классом ездили в Одессу, там ко мне один негр притронулся, так я чуть не вырвала.

– Это говорит о нашей провинциальности, об узости взглядов.

– Не знаю... Пусть это будет провинциальность, но представить себя с негром я не могу.

– Я бы ещё понял тебя, если бы ты воспитывалась в каком-нибудь монастыре, закрытом религиозном пансионе, но ты же росла в обычной советской семье, откуда такое... пуританство? Как ты всю жизнь мучила меня своим отношением к сексу. Это чёрт знает что.

– Ну вот, я его мучила... А он меня не мучил? Ты меня больше мучил своим отношением к сексу. Я тебе вообще ни для чего не была нужна, кроме секса. Помешались все на сексе. Уже и не знают, что ещё такого выдумать мерзкого, отвратительного. Скоро... прямо на асфальте начнут трахаться, как собаки. И не только с неграми, но и с обезьянами.

– Таня, кошмар, на улице двадцать первый век.

– Ну и что? Значит теперь всё можно?

– Пойдём за тот столик... Мне этот чувак предлагал нанимать тут бригады и возить их к нему в Москву. Он бы их там потом кидал, а деньги пополам.

– А ты что?

– Да ну. Опасно. До него, может, не доберутся, а меня прибудут где-нибудь. И потом... так подставлять... Нет, это не для меня.

– Сволочное предложение. Я ещё тогда понял, что он конченный отморозок. Он мне остался должен сто баксов.

– Парни, вы Герцена читали?

– Пей, папаша, мы тебя не трогаем.

– Так вот Герцен писал: какое несчастье жить в провинции.

– Папаша нализался. Пойдём вон туда.

– Идите. Всё равно вам здесь никем не стать и жёны ваши будут обыкновенными ханжами. Они даже в рот у вас ни разу не возьмут за всю жизнь.

– Ты с кем вчера пил?

– Один.

– Дожился. И тебе не стыдно?

– Мне всю жизнь стыдно. Знаешь, в детстве я думал, что стыдно бывает только детям, потому что дети балуются, врут, ошибаются, многого не знают, а взрослым стыдиться нечего – они всё делают правильно. Что значит правильно? Всё, что делают взрослые – правильно. Поэтому с точки зрения меня-ребёнка я уже давно должен всё делать правильно и мне не может быть стыдно. Но мне стыдно, значит я всё ещё ребёнок, я даже пишу с ошибками, как какой-нибудь третьеклассник.

– Хорош ребёнок. Видел бы ты себя вчера. И что за удовольствие напиваться?

– Ни малейшего удовольствия. Если бы ты знала, как мне сейчас плохо. От проклятого пива похмелье в десять раз хуже, чем от водки.

– Вот скажи, что у тебя есть ум в голове. Здоровье ни к чёрту, он пьёт.

– Ну, ладно тебе... Всё, больше не буду.

– Я это уже столько раз слышала. Если не жалко себя – пей.

– Ну, всё, всё.

– Всё... у меня опять давление поднялось.

– Ну, хватит.

– Таня, если вдуматься, так я не только не художник, я антихудожник. Во-первых, я не верю в бога. Да, собственно, уже одним этим всё сказано. Я жуткий рационалист и материалист, мелочный прагматик. Посмотри на мою старость: я лежу в тепле, за мной ухаживают, у меня есть пенсия. Я всю жизнь был убеждён, что не думаю об этом, что для меня это не важно, что все мои мысли направлены на творчество, но на самом деле я всё делал так, чтобы иметь то, что имею. Просто я этого не осознавал. Я никогда не делал шаг вперёд, если не был уверен, что смогу сделать два шага назад. Я терпеть не мог, когда какая-нибудь собака оказывалась у меня за спиной. Всё, что за спиной, должно быть абсолютно надёжно. Я, наверно, принадлежу к тем биологическим особям, которые последними потеряли способность видеть затылочным глазом. Опрометчивое решение эволюции, на мой взгляд. Художник – это не про рисование, а про образ жизни. Художник сам должен воплощаться в образ. Я не поклонник акционизма, но мне кажется, это естественное развитие художественной мысли. В сущности, уже Сальвадор Дали был акционистом. Закручивая свои невероятные усы, посадив на поводок какого-то хорька, он создавал образ. А что представлял собой я? Я даже бороду стеснялся носить, пока её не начали носить все. Стесняться себя, своих мыслей, действий, своих картин... Мои картины мне нравились, пока на них не устремлялись взгляды зрителей. Стоило кому-то посмотреть на мою картину, как мне становилось мучительно стыдно, словно я стоял без штанов. Нет, такому человеку, как я, нельзя и невозможно быть художником. Почему мне никто об этом не сказал? Почему мне об этом не сказали в училище? Впрочем, я бы всё равно не поверил. И ещё вот что.

– Что?

– Если бы я был настоящим художником, ты не вышла за меня замуж. Уж ты точно знала, чувствовала, что я не сойду с ума, что со мной можно будет прожить нормальную спокойную жизнь. Ну, скажи, что ты это знала?

– Понятно к чему ты клонишь, это я во всём виновата. Я тебе не позволяла сходить с ума.

– Да нет же. Тебе и не нужно было ничего делать. Я и без тебя не решился бы ни на что. Поэтому, выходя за меня, ты ничем не рисковала. Более того, ты тоже вполне меня устраивала. Я тоже знал, что ты не сойдёшь с ума, что тебе не нужна ни свобода, ни роскошь, что ты готова довольствоваться малым, только бы тебя не вынуждали действовать. Мы с тобой на удивление родственные души, иначе разве прожили бы вместе столько лет.

– Почему ты решил, что я не хотела твоей славы? Может быть, мне приятно было бы быть рядом с тобой на вернисаже где-нибудь в Париже или Венеции, чтобы все

видели: вот жена художника. Ты думаешь, я бы не смогла одеться как следует, сделать умное лицо.

– Если и была у тебя такая мечта, то, согласишься, ты довольно легко от неё отказалась.

– А что оставалось делать? Что я могла сделать?

– Что-то меня опять тошнит.

– Отчего? Ты ещё ничего сегодня не ел.

– Что с тобой, ты чего такой злой?

– Эта сука в курином отделе...

– Лена?

– Не знаю, Лена она или не Лена – сука.

– Что случилось? Обсчитала, что ли?

– Какая-то тётка заговорила с ней по-украински, а она мне потом говорит: «Терпеть не могу эту козлиную мову». Эх, думаю, сука, сказала бы ты чеченцу такое про его язык, он бы тебе матку выдрал и натянул на твою дурную башку.

– А ты ей сказал что-нибудь?

– Нет, но курятину у неё покупать не буду.

– Коля, Серёжа пришёл.

– Привет, бать. Что это ты расхворался?

– Проклятая анемия не даёт двигаться.

– Лечишься?

– Лечусь.

– Может, деньги нужны?

– Нет, у нас есть.

– Что там у вас есть.

– Ей-богу есть. Да, мать?

– Да, пока есть.

– Всё равно, на на лекарство.

– Не надо.

– Бери.

– Ты хочешь, чтобы я расплакался. Я ужасно злой и сентиментальный. Как ты?

– Нормально.

– Говорят, вы на море были?

– Да, война войной, а жизнь никто не отменял.

– Ты теперь в военкомате служишь?

– Да, во взводе охраны.

– В Краматорске?

– В Краматорске.

– Приходится ездить?

– Начинаю привыкать.

– Что ещё новенького?

– Ничего.

– Понятно. Футболы смотришь?

– Смотрю. Скоро лига чемпионов начинается.

– Как ты думаешь, нашим что-нибудь светит?

– Посмотрим.

– На море с Галиной был?

– Да.

– Ну, расскажи что-нибудь.

– Что тебе рассказать? Народу на море полно. Крым закрылся, все рванули сюда. Ну и цены, конечно, приличные. А так... всё как всегда.

– А я вот, видишь... Сил никаких нет.

– Ешь побольше фруктов.

– Да. Не знаю, переживу эту зиму. Как подумаю про осень...

– А ты не думай. Зачем заранее расстраивать себя? И вообще, перестань. Мы с Галкой хотим небольшую усадьбу купить под дачу, так что будешь у меня ещё помидоры выращивать.

– Я бы на вашем месте не вкладывался в недвижимость здесь, в Донбассе.

– Почему?

– Мало ли что тут ещё может случиться.

– Ну, если так думать... ничего, ничего не случится. Всё будет нормально.

– Дай-то бог.

– Тань, представь себе заключённого... пожизненно. И вот он отсидел уже тридцать или сорок лет, и пришло время умирать. Является к нему ангел, Бог, волшебник, чародей или кто там ещё, и говорит: я могу вернуть тебя на тридцать лет назад, но ты уже приговорён и сидишь в тюрьме. Хочешь прожить здесь ещё эти тридцать лет? Как ты думаешь, согласится человек на это?

– Я знаю, что ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что прожил всю жизнь как в тюрьме, и эту тюрьму для тебя устроила я.

– Нет, не угадала. Моя тюрьма – это я сам. Я сам себе и следователь, и прокурор, и судья, и надзиратель. Моя жизнь бесконечный судебный процесс. Как я устал от себя, от вечных подозрений, что я делаю не так, не то говорю, не то чувствую. Мне кажется, я перед Серёжкой виноват. Мне кажется, он знает, в чём я перед ним виноват, но не говорит мне об этом. Вот он сидел тут передо мной, знал и не говорил, потому что – что теперь мне говорить.

– Ни в чём ты перед ним не виноват, а если и виноват, то не больше других отцов. И перестань себя накручивать.

– И перед тобой я виноват, что оказался плохим художником и слабым мужиком. Ты меня всегда удивляла и раздражала своим сильным характером, тем, что я никогда не мог тебя перебороть, переупрямить. Я завидовал тебе, думал, вот бы мне её характер.

– Ещё чего.

– Мы с тобой неправильно родились. Мне надо было быть бабой, а тебе мужиком.

– Не городи ерунду.

– Вот, видишь, какая ты у меня определённая. Я себя называю прагматиком, но по сравнению с тобой я фантазёр.

– Я знаю, сочинять ты умеешь. О чём ни спроси, тыечно всё перевернёшь. Ты даже о своих родственниках рассказываешь то одно, то другое. Тебя невозможно понять. Что ты хочешь?

– Умереть.

– Тань, ты часто вспоминаешь детство? Я помню твою фотографию.

– Какую?

– Ту, где тебе лет семь. Помнишь её? Ты стоишь в каком-то дворе с растрёпанными выгоревшими волосами и с грязными коленками.

– Это в Козолуговке...

– Как же я тебя люблю на той фотографии...

– Тань, мне кажется, если уж и стоит появляться на свет, то ради первых десяти, двенадцати лет. Конечно, и тогда была куча неприятностей, но даже они вспоминаются с совершенно иной эмоциональной окраской. Когда я мысленно переношусь в детство, я

всегда оказываюсь в одном и том же месте: в конце нашего сада росла молодая чахленькая яблоня. Она была чем-то похожа на меня. Видно, там была плохая почва, и под яблоней не росла даже трава, зато как было приятно стоять босыми ногами на рыхлой тёплой земле, щуриться от яркого солнца, чувствовать, как ветер разметает по лбу волосы и видеть далёкую, далёкую даль, речку, мост, рощу, пшеничное поле и голубое небо...